

Фазиль
ИСКАНДЕР



ТРИНАДЦАТЫЙ
ПОДВИГ ГЕРАКЛА



РЕКОМЕНДОВАНО
ЛУЧШИМИ
УЧИТЕЛЯМИ

Классика
для
школьников

Классика для школьников

Фазиль Искандер

**Тринадцатый подвиг Геракла.
Рассказы о Чике (сборник)**

«Издательство АСТ»

2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Искандер Ф. А.

Тринадцатый подвиг Геракла. Рассказы о Чике (сборник) /
Ф. А. Искандер — «Издательство АСТ», 2018 — (Классика для
школьников)

ISBN 978-5-17-106726-7

Фазиль Абдулович Искандер (1929–2016) – мастер прозы, поэт, эссеист, автор остроумных афоризмов. «Детство формирует человека, и многие впечатления детства становятся потом основой характера взрослого. В этом смысле детство – это основа будущего взрослого человека», – считал писатель. Именно поэтому Фазиль Искандер много писал о детях. В книгу вошли рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла» и цикл рассказов о Чике. Пятиклассник – герой рассказа «Тринадцатый подвиг Геракла» – не решил трудную задачу по математике, которая была задана на дом. Чтобы избежать насмешки учителя, он решился на обман. Подвигом трусости назвал учитель поступок своего ученика. Герой «Рассказов о Чике» – озорной, добрый, интересующийся всем на свете 11-летний мальчик Чичико. Он ходит в школу, играет в футбол, любит читать Пушкина, помогает тете и бабушке, защищает слабых, размышляет о жизни и ее первых уроках.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-106726-7

© Искандер Ф. А., 2018
© Издательство АСТ, 2018

Содержание

Тринадцатый подвиг Геракла	6
Рассказы о Чике	15
Ночь и день Чика	15
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Фазиль Искандер
Тринадцатый подвиг
Геракла: Рассказы о Чике

Иллюстрация на обложке Н. Бугославской

© Искандер Ф.А., насл.

© ООО «Издательство АСТ»

Тринадцатый подвиг Геракла

Все математики, с которыми мне приходилось встречаться в школе и после школы, были людьми неряшливыми, слабохарактерными и довольно гениальными. Так что утверждение насчет того, что пифагоровы штаны якобы во все стороны равны, навряд ли абсолютно точно.

Возможно, у самого Пифагора так оно и было, но его последователи, наверно, об этом забыли и мало обращали внимания на свою внешность.

И все-таки был один математик в нашей школе, который отличался от всех других. Его нельзя было назвать слабохарактерным, ни тем более неряшливым. Не знаю, был ли он гениален, – сейчас это трудно установить. Я думаю, скорее всего был.

Звали его Харламбий Диогенович. Как и Пифагор, он был по происхождению грек. Появился он в нашем классе с нового учебного года. До этого мы о нем не слышали и даже не знали, что такие математики могут быть.

Он сразу же установил в нашем классе образцовую тишину. Тишина стояла такая жуткая, что иногда директор испуганно распахивал дверь, потому что не мог понять, на месте мы или сбежали на стадион.

Стадион находился рядом со школьным двором и постоянно, особенно во время больших состязаний, мешал педагогическому процессу. Директор даже писал куда-то, чтобы его перенесли в другое место. Он говорил, что стадион нервирует школьников. На самом деле нас нервировал не стадион, а комендант стадиона дядя Вася, который безошибочно нас узнавал, даже если мы были без книжек, и гнал нас оттуда со злостью, не угасающей с годами.

К счастью, нашего директора не послушали и стадион оставили на месте, только деревянный забор заменили каменным. Так что теперь приходилось перелезать и тем, которые раньше смотрели на стадион через щели в деревянной ограде.

Все же директор наш напрасно боялся, что мы можем сбежать с урока математики. Это было немислимо. Это было все равно что подойти к директору на перемене и молча скинуть с него шляпу, хотя она всем порядочно надоела. Он всегда, и зимой и летом, ходил в одной шляпе, вечнозеленой, как магнолия. И всегда чего-нибудь боялся.

Со стороны могло показаться, что он больше всего боялся комиссии из гороно, на самом деле он больше всего боялся нашего завуча. Это была демоническая женщина. Когда-нибудь я напишу о ней поэму в байроновском духе, но сейчас я рассказываю о другом.

Конечно, мы никак не могли сбежать с урока математики. Если мы вообще когда-нибудь и сбежали с урока, то это был, как правило, урок пения.

Бывало, только входит наш Харламбий Диогенович в класс, сразу все затихают, и так до самого конца урока. Правда, иногда он нас заставлял смеяться, но это был не стихийный смех, а веселье, организованное сверху самим же учителем. Оно не нарушало дисциплины, а служило ей, как в геометрии доказательство от обратного.

Происходило это примерно так. Скажем, иной ученик чуть припоздает на урок, ну примерно на полсекунды после звонка, а Харламбий Диогенович уже входит в дверь. Бедный ученик готов провалиться сквозь пол. Может, и провалился бы, если б прямо под нашим классом не находилась учительская.

Иной учитель на такой пустяк не обратит внимания, другой сгоряча выругает, но только не Харламбий Диогенович. В таких случаях он останавливался в дверях, перекладывал журнал из руки в руку и жестом, исполненным уважения к личности ученика, указывал на проход.

Ученик мнется, его растерянная физиономия выражает желание как-нибудь незаметней проскользнуть в дверь после учителя. Зато лицо Харлампия Диогеновича выражает радостное гостеприимство, сдержанное приличием и пониманием необычности этой минуты. Он дает знать, что само появление такого ученика – редчайший праздник для нашего класса и лично

для него, Харлампия Диогеновича, что его никто не ожидал, и раз уж он пришел, никто не посмеет его упрекнуть в этом маленьком опоздании, тем более он, скромный учитель, который, конечно же, пройдет в класс после такого замечательного ученика и сам закроет за ним дверь в знак того, что дорогого гостя не скоро отпустят.

Все это длится несколько секунд, и в конце концов ученик, неловко протиснувшись в дверь, спотыкающейся походкой идет на свое место.

Харлампий Диогенович смотрит ему вслед и говорит что-нибудь великолепное. Например:

– Принц Уэльский.

Класс хохочет. И хотя мы не знаем, кто такой принц Уэльский, мы понимаем, что в нашем классе он никак не может появиться. Ему просто здесь нечего делать, потому что принцы в основном занимаются охотой на оленей. И если уж ему надоест охотиться за своими оленями и он захочет посетить какую-нибудь школу, то его обязательно поведут в первую школу, что возле электростанции. Потому что она образцовая. В крайнем случае, если б ему вздумалось прийти именно к нам, нас бы давно предупредили и подготовили класс к его приходу.

Потому-то мы и смеялись, понимая, что наш ученик никак не может быть принцем, тем более каким-то Уэльским.

Но вот Харлампий Диогенович садится на место. Класс мгновенно смолкает. Начинается урок.

Большоголовый, маленького роста, аккуратно одетый, тщательно выбритый, он властно и спокойно держал класс в руках. Кроме журнала, у него был блокнотик, куда он что-то вписывал после опроса. Я не помню, чтобы он на кого-нибудь кричал, или уговаривал заниматься, или грозил вызвать родителей в школу. Все эти штучки были ему ни к чему.

Во время контрольных работ он и не думал бегать между рядами, заглядывать в парты или там бдительно вскидывать голову при всяком шорохе, как это делали другие. Нет, он спокойно читал себе что-нибудь или перебирал четки с бусами, желтыми, как кошачьи глаза.

Списывать у него было почти бесполезно, потому что он сразу узнавал списанную работу и начинал высмеивать ее. Так что списывали мы только в самом крайнем случае, если уж никакого выхода не было.

Бывало, во время контрольной работы оторвется от своих четок или книги и говорит:

– Сахаров, пересядьте, пожалуйста, к Авдеенко.

Сахаров встает и смотрит на Харлампия Диогеновича вопросительно. Он не понимает, зачем ему, отличнику, пересаживаться к Авдеенко, который плохо учится.

– Пожалейте Авдеенко, он может сломать шею.

Авдеенко тупо смотрит на Харлампия Диогеновича, как бы не понимая, а может быть, и в самом деле не понимая, почему он может сломать шею.

– Авдеенко думает, что он лебедь, – поясняет Харлампий Диогенович. – Черный лебедь, – добавляет он через мгновение, намекая на загорелое, угрюмое лицо Авдеенко. – Сахаров, можете продолжать, – говорит Харлампий Диогенович.

Сахаров садится.

– И вы тоже, – обращается он к Авдеенко, но что-то в голосе его едва заметно сдвинулось. В него влилась точно дозированная порция насмешки. – ...Если, конечно, не сломаете шею... черный лебедь! – твердо заключает он, как бы выражая мужественную надежду, что Александр Авдеенко найдет в себе силы работать самостоятельно.

Шурик Авдеенко сидит, яростно наклонившись над тетрадью, показывая мощные усилия ума и воли, брошенные на решение задачи.

Главное оружие Харлампия Диогеновича – это делать человека смешным. Ученик, отступающий от школьных правил, – не лентяй, не лоботряс, не хулиган, просто смешной человек.

Вернее, не просто смешной, на это, пожалуй, многие согласились бы, но какой-то обидно смешной. Смешной, не понимающий, что он смешной, или догадывающийся об этом последним.

И когда учитель выставляет тебя смешным, сразу же распадается круговая порука учеников, и весь класс над тобой смеется. Все смеются против одного. Если над тобой смеется один человек, ты можешь еще как-нибудь с этим справиться. Но невозможно пересмеять весь класс. И если уж ты оказался смешным, хотелось во что бы то ни стало доказать, что ты хоть и смешной, но не такой уж окончательно смехотворный.

Надо сказать, что Харламий Диогенович не давал никому привилегии. Смешным мог оказаться каждый. Разумеется, я тоже не избежал общей участи.

В тот день я не решил задачу, заданную на дом. Там было что-то про артиллерийский снаряд, который куда-то летит с какой-то скоростью и за какое-то время. Надо было узнать, сколько километров пролетел бы он, если бы летел с другой скоростью и чуть ли не в другом направлении.

В общем, задача была какая-то запутанная и глупая. У меня решение никак не сходилось с ответом. А между прочим, в задачниках тех лет, наверное, из-за вредителей, ответы иногда бывали неверные. Правда, очень редко, потому что их к тому времени почти всех переловили. Но, видно, кое-кто еще орудовал на воле.

Но некоторые сомнения у меня все-таки оставались. Вредители вредителями, но, как говорится, и сам не плошай.

Поэтому на следующий день я пришел в школу за час до занятий. Мы учились во вторую смену. Самые заядлые футболисты были уже на месте. Я спросил у одного из них насчет задачи, оказалось, что и он ее не решил. Совесть моя окончательно успокоилась. Мы разделились на две команды и играли до самого звонка.

И вот входим в класс. Еле отдышавшись, на всякий случай спрашиваю у отличника Сахарова:

– Ну, как задача?

– Ничего, – говорит он, – решил.

При этом он коротко и значительно кивнул головой в том смысле, что трудности были, но мы их одолели.

– Как решил, ведь ответ неправильный?

– Правильный, – кивает он мне головой с такой противной уверенностью на умном добросовестном лице, что я его в ту же минуту возненавидел за благополучие, хотя и заслуженное, но тем более неприятное. Я еще хотел посомневаться, но он отвернулся, отняв у меня последнее утешение падающих: хвататься руками за воздух.

Оказывается, в это время в дверях появился Харламий Диогенович, но я его не заметил и продолжал жестикулировать, хотя он стоял почти рядом со мной. Наконец я догадался, в чем дело, испуганно захлопнул задачник и замер.

Харламий Диогенович прошел на место.

Я испугался и ругал себя за то, что сначала согласился с футболистом, что задача неправильная, а потом не согласился с отличником, что она правильная. А теперь Харламий Диогенович, наверное, заметил мое волнение и первым меня вызовет.

Рядом со мной сидел тихий и скромный ученик. Звали его Адольф Комаров. Теперь он себя называл Аликотом и даже на тетради писал «Аликот», потому что началась война и он не хотел, чтобы его дразнили Гитлером. Все равно все помнили, как его звали раньше, и при случае напоминали ему об этом.

Я любил разговаривать, а он любил сидеть тихо. Нас посадили вместе, чтобы мы влияли друг на друга, но, по-моему, из этого ничего не получилось. Каждый оставался таким, каким был.

Сейчас я заметил, что даже он решил задачу. Он сидел над своей раскрытой тетрадью, опрятный, худой и тихий, и оттого, что руки его лежали на промокашке, он казался еще тише. У него была такая дурацкая привычка – держать руки на промокашке, от чего я его никак не мог отучить.

– Гитлер капут, – шепнул я в его сторону. Он, конечно, ничего не ответил, но хоть руки убрал с промокашки, и то стало легче.

Между тем Харламий Диогенович поздоровался с классом и уселся на стул. Он слегка вздернул рукава пиджака, медленно протер нос и рот носовым платком, почему-то посмотрел после этого в платок и сунул его в карман. Потом он снял часы и начал листать журнал. Казалось, приготовления палача пошли быстрее.

Но вот он отметил отсутствующих и стал оглядывать класс, выбирая жертву. Я затаил дыхание.

– Кто дежурный? – неожиданно спросил он. Я вздохнул, благодарный ему за передышку.

Дежурного не оказалось, и Харламий Диогенович заставил самого старосту стирать с доски. Пока он стирал, Харламий Диогенович внушал ему, что должен делать староста, когда нет дежурного. Я надеялся, что он расскажет по этому поводу какую-нибудь притчу из школьной жизни, или басню Эзопа, или что-нибудь из греческой мифологии. Но он ничего не стал рассказывать, потому что скрип сухой тряпки о доску был неприятен и он ждал, чтобы староста скорей кончил свое нудное протираие. Наконец староста сел.

Класс замер. Но в это мгновение раскрылась дверь и в дверях появились доктор с медсестрой.

– Извините, это пятый «А»? – спросила доктор.

– Нет, – сказал Харламий Диогенович с вежливой враждебностью, чувствуя, что какое-то санитарное мероприятие может сорвать ему урок. Хотя наш класс был почти пятый «А», потому что он был пятый «Б», он так решительно сказал «нет», как будто между нами ничего общего не было и не могло быть.

– Извините, – сказала доктор еще раз и, почему-то нерешительно помешкав, закрыла дверь.

Я знал, что они собираются делать уколы против тифа. В некоторых классах уже делали. Об уколах заранее никогда не объявляли, чтобы никто не мог улизнуть или, притворившись больным, остаться дома.

Уколов я не боялся, потому что мне делали массу уколов от малярии, а это самые противные из всех существующих уколов.

И вот внезапная надежда, своим белоснежным халатом озарившая наш класс, исчезла. Я этого не мог так оставить.

– Можно, я им покажу, где пятый «А»? – сказал я, обнаглев от страха.

Два обстоятельства в какой-то мере оправдывали мою дерзость. Я сидел против двери, и меня часто посылали в учительскую за мелом или еще за чем-нибудь. А потом пятый «А» был в одном из флигелей при школьном дворе, и докторша в самом деле могла запутаться, потому что она у нас бывала редко, постоянно она работала в первой школе.

– Покажите, – сказал Харламий Диогенович и слегка приподнял брови.

Стараясь сдерживаться и не выдавать своей радости, я выскочил из класса.

Я догнал докторшу и медсестру еще в коридоре нашего этажа и пошел с ними.

– Я покажу вам, где пятый «А», – сказал я. Докторша улыбнулась так, как будто она не уколы делала, а раздавала конфеты.

– А нам что, не будете делать? – спросил я.

– Вам на следующем уроке, – сказала докторша, все так же улыбаясь.

– А мы уходим в музей на следующий урок, – сказал я несколько неожиданно даже для себя.

Вообще-то у нас шли разговоры о том, чтобы организованно пойти в краеведческий музей и осмотреть там следы стоянки первобытного человека. Но учительница истории все время откладывала наш поход, потому что директор боялся, что мы не сумеем пойти туда организованно.

Дело в том, что в прошлом году один мальчик из нашей школы стащил оттуда кинжал абхазского феодала, чтобы сбежать с ним на фронт. По этому поводу был большой шум, и директор решил, что все получилось так потому, что класс пошел в музей не в шеренгу по два, а гурьбой.

На самом деле этот мальчик все заранее рассчитал. Он не сразу взял кинжал, а сначала сунул его в солому, которой была покрыта Хижина Дореволюционного Бедняка. А потом, через несколько месяцев, когда всё успокоилось, он пришел туда в пальто с прорезанной подкладкой и окончательно унес кинжал.

– А мы вас не пустим, – сказала докторша шутливо.

– Что вы, – сказал я, начиная волноваться, – мы собираемся во дворе и организованно пойдем в музей.

– Значит, организованно?

– Да, организованно, – повторил я серьезно, боясь, что она, как и директор, не поверит в нашу способность организованно сходить в музей.

– А что, Галочка, пойдем в пятый «Б», а то и в самом деле уйдут, – сказала она и остановилась. Мне всегда нравились такие чистенькие докторши в беленьких чепчиках и в беленьких халатах.

– Но ведь нам сказали сначала в пятый «А», – заупрямилась эта Галочка и строго посмотрела на меня. Видно было, что она всеми силами корчит из себя взрослую.

Я даже не посмотрел в ее сторону, показывая, что никто и не думает считать ее взрослой.

– Какая разница, – сказала докторша и решительно повернулась.

– Мальчику не терпится испытать мужество, да?

– Я малярик, – сказал я, отстраняя личную заинтересованность, – мне уколы делали тыщу раз.

– Ну, малярик, веди нас, – сказала докторша, и мы пошли.

Убедившись, что они не передумают, я побежал вперед, чтобы устранить связь между собой и их приходом.

Когда я вошел в класс, у доски стоял Шурик Авдеенко, и, хотя решение задачи в трех действиях было написано на доске его красивым почерком, объяснить решение он не мог. Вот он и стоял у доски с яростным и угрюмым лицом, как будто раньше знал, а теперь никак не мог припомнить ход своей мысли.

«Не бойся, Шурик, – думал я, – ты ничего не знаешь, а я тебя уже спас». Хотелось быть ласковым и добрым.

– Молодец, Алик, – сказал я тихо Комарову, – такую трудную задачу решил.

Алик у нас считался способным троечником. Его редко ругали, зато еще реже хвалили. Кончики ушей у него благодарно порозовели. Он опять наклонился над своей тетрадью и аккуратно положил руки на промокашку. Такая уж у него была привычка.

Но вот распахнулась дверь, и докторша вместе с этой Галочкой вошли в класс. Докторша сказала, что так, мол, и так, надо ребятам делать уколы.

– Если это необходимо именно сейчас, – сказал Харлампий Диогенович, мельком взглянув на меня, – я не могу возражать. Авдеенко, на место, – кивнул он Шурику.

Шурик положил мел и пошел на место, продолжая делать вид, что вспоминает решение задачи.

Класс заволновался, но Харламий Диогенович приподнял брови, и все притихли. Он положил в карман свой блокнотик, закрыл журнал и уступил место докторше. Сам он присел рядом за парту. Он казался грустным и немного обиженным.

Доктор и девчонка раскрыли свои чемоданчики и стали раскладывать на столе баночки, бутылочки и враждебно сверкающие инструменты.

– Ну, кто из вас самый смелый? – сказала докторша, хищно высосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу острием кверху, чтобы лекарство не вылилось.

Она это сказала весело, но никто не улыбнулся, все смотрели на иглу.

– Будем вызывать по списку, – сказал Харламий Диогенович, – потому что здесь сплошные герои.

Он раскрыл журнал.

– Авдеенко, – сказал Харламий Диогенович и поднял голову.

Класс нервно засмеялся. Докторша тоже улыбнулась, хотя и не понимала, почему мы смеемся.

Авдеенко подошел к столу, длинный, нескладный, и по лицу его было видно, что он так и не решил, что лучше, получить двойку или идти первым на укол.

Он заголил рубаху и теперь стоял спиной к докторше, все такой же нескладный и не решивший, что же лучше. И потом, когда укол сделали, он не обрадовался, хотя теперь весь класс ему завидовал.

Алик Комаров все больше и больше бледнел. Подходила его очередь. И хотя он продолжал держать свои руки на промокашке, видно, это ему не помогало.

Я старался как-нибудь его расхрабрить, но ничего не получалось. С каждой минутой он делался все строже и бледней. Он не отрываясь смотрел на докторскую иглу.

– Отвернись и не смотри, – говорил я ему.

– Я не могу отвернуться, – отвечал он затравленным шепотом.

– Сначала будет не так больно. Главная боль, когда будут впускать лекарство, – подготавливал я его.

– Я худой, – шептал он мне в ответ, едва шевеля белыми губами, – мне будет очень больно.

– Ничего, – отвечал я, – лишь бы в кость не попала иголка.

– У меня одни кости, – отчаянно шептал он, – обязательно попадут.

– А ты расслабься, – говорил я ему, похлопывая его по спине, – тогда не попадут.

Спина его от напряжения была твердая, как доска.

– Я и так слабый, – отвечал он, ничего не понимая, – я малокровный.

– Худые не бывают малокровными, – строго возразил я ему. – Малокровными бывают малярики, потому что малярия сосет кровь.

У меня была хроническая малярия, и, сколько доктора ни лечили, ничего не могли поделать с ней. Я немного гордился своей неизлечимой малярией.

К тому времени, как Алика вызвали, он был совсем готов. Я думаю, он даже не сообразил, куда идет и зачем.

Теперь он стоял спиной к докторше, бледный, с остекленевшими глазами, и когда ему сделали укол, он внезапно побелел, как смерть, хотя, казалось, дальше бледнеть некуда. Он так побледнел, что на лице его выступили веснушки, как будто откуда-то выпрыгнули. Раньше никто и не думал, что он веснушчатый. На всякий случай я решил запомнить, что у него есть скрытые веснушки. Это могло пригодиться, хотя я и не знал пока, для чего.

После укола он чуть не свалился, но докторша его удержала и посадила на стул. Глаза у него закатились, мы все испугались, что он умирает.

– «Скорую помощь»! – закричал я. – Побегу позвоню!

Харламий Диогенович гневно посмотрел на меня, а докторша ловко подсунула ему под нос флакончик. Конечно, не Харлампию Диогеновичу, а Алику.

Он сначала не открывал глаза, а потом вдруг вскочил и деловито пошел на свое место, как будто не он только что умирал.

– Даже не почувствовал, – сказал я, когда мне сделали укол, хотя прекрасно все почувствовал.

– Молодец, малярик, – сказала докторша.

Помощница ее быстро и небрежно протерла мне спину после укола. Видно было, что она все еще злится на меня за то, что я их не пустил в пятый «А».

– Еще потрите, – сказал я, – надо, чтобы лекарство разошлось.

Она с ненавистью дотерла мне спину. Холодное прикосновение проспиртованной ваты было приятно, а то, что она злится на меня и все-таки вынуждена протирать мне спину, было еще приятней.

Наконец все кончилось. Докторша со своей Галочкой собрали чемоданчики и ушли. После них в классе остался приятный запах спирта и неприятный – лекарства. Ученики сидели, поживаясь, осторожно пробуя лопатками место укола и переговариваясь на правах пострадавших.

– Откройте окно, – сказал Харламий Диогенович, занимая свое место. Он хотел, чтобы с запахом лекарства из класса вышел дух больничной свободы.

Он вынул четки и задумчиво перебирал желтые бусины. До конца урока оставалось немного времени. В такие промежутки он обычно рассказывал нам что-нибудь поучительное и древнегреческое.

– Как известно из древнегреческой мифологии, Геракл совершил двенадцать подвигов, – сказал он и остановился. Щелк, щелк – перебрал он две бусины справа налево. – Один молодой человек захотел исправить греческую мифологию, – добавил он и опять остановился. Щелк, щелк.

«Смотри, чего захотел», – подумал я про этого молодого человека, понимая, что греческую мифологию исправлять никому не разрешается. Какую-нибудь другую, завалящую мифологию, может быть, и можно подправлять, но только не греческую, потому что там уже давно все исправлено и никаких ошибок быть не может.

– Он решил совершить тринадцатый подвиг Геракла, – продолжал Харламий Диогенович, – и это ему отчасти удалось.

Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фальшивый и никудышный подвиг, потому что, если бы Гераклу понадобилось совершить тринадцать подвигов, он бы сам их совершил, а раз он остановился на двенадцати, значит, так оно и надо было и нечего было лезть со своими поправками.

– Геракл совершал свои подвиги как храбрец. А этот молодой человек совершил свой подвиг из трусости... – Харламий Диогенович задумался и прибавил: – Мы сейчас узнаем, во имя чего он совершил свой подвиг...

Щелк. На этот раз только одна бусина упала с правой стороны на левую. Он ее резко подтолкнул пальцем. Она как-то нехорошо упала. Лучше бы упали две, как раньше, чем одна такая.

Я почувствовал, что в воздухе запахло какой-то опасностью. Как будто не бусина щелкнула, а захлопнулся маленький капканчик в руках Харлампия Диогеновича.

– ...Мне кажется, я догадываюсь, – проговорил он и посмотрел на меня.

Я почувствовал, как от его взгляда сердце мое с размаху вlepилось в спину.

– Прошу вас, – сказал он и жестом пригласил меня к доске.

– Меня? – переспросил я, чувствуя, что голос мой подымается прямо из живота.

– Да, именно вас, бесстрашный малярик, – сказал он.

Я поплелся к доске.

– Расскажите, как вы решили задачу, – спросил он спокойно, и – щелк, щелк – две бусины перекатились с правой стороны на левую. Я был в его руках.

Класс смотрел на меня и ждал. Он ждал, что я буду проваливаться, и хотел, чтобы я проваливался как можно медленней и интересней.

Я смотрел краем глаза на доску, пытаюсь по записанным действиям восстановить причину этих действий. Но мне это не удалось. Тогда я стал сердито стирать с доски, как будто написанное Шуриком путало меня и мешало сосредоточиться. Я еще надеялся, что вот-вот прозвенит звонок и казнь придется отменить. Но звонок не звенел, а бесконечно стирать с доски было невозможно. Я положил тряпку, чтобы раньше времени не делаться смешным.

– Мы вас слушаем, – сказал Харламий Диогенович, не глядя на меня.

– Артиллерийский снаряд, – сказал я бодро в ликующей тишине класса и замолк.

– Дальше, – проговорил Харламий Диогенович, вежливо выждав.

– Артиллерийский снаряд, – повторил я упрямо, надеясь по инерции этих слов пробиться к другим таким же правильным словам. Но что-то крепко держало меня на привязи, которая натягивалась, как только я произносил эти слова. Я сосредоточился изо всех сил, пытаюсь представить ход задачи, и еще раз рванулся, чтобы оборвать эту невидимую привязь.

– Артиллерийский снаряд, – повторил я, содрогаясь от ужаса и отвращения.

В классе раздались сдержанные хихиканья. Я почувствовал, что наступил критический момент, и решил ни за что не делаться смешным, лучше просто получить двойку.

– Вы что, проглотили артиллерийский снаряд? – спросил Харламий Диогенович с доброжелательным любопытством.

Он это спросил так просто, как будто справлялся, не проглотил ли я сливовую косточку.

– Да, – быстро сказал я, почувствовав ловушку и решив неожиданным ответом спутать его расчеты.

– Тогда попросите военрука, чтобы он вас разминировал, – сказал Харламий Диогенович, но класс уже и так смеялся.

Смеялся Сахаров, стараясь во время смеха не переставать быть отличником. Смеялся даже Шурик Авдеенко, самый мрачный человек нашего класса, которого я же спас от неминуемой двойки. Смеялся Комаров, который хоть и зовется теперь Аликом, а как был, так и остался Адольфом.

Глядя на него, я подумал, что если бы у нас в классе не было настоящего рыжего, он сошел бы за него, потому что волосы у него светлые, а веснушки, которые он скрывал так же, как свое настоящее имя, обнаружили во время укола. Но у нас был настоящий рыжий, и рыжеватость Комарова никто не замечал. И еще я подумал, что, если бы мы на днях не содрали с наших дверей табличку с обозначением класса, может быть, докторша к нам не зашла и ничего бы не случилось. Я смутно начинал догадываться о связи, которая существует между вещами и событиями.

Звонок, как погребальный колокол, продрался сквозь хохот класса. Харламий Диогенович поставил мне отметку в журнал и еще что-то записал в свой блокнотик.

С тех пор я стал серьезней относиться к домашним заданиям и с нерешенными задачами никогда не совался к футболистам. Каждому свое.

Позже я заметил, что почти все люди боятся показаться смешными. Особенно боятся показаться смешными женщины и поэты. Пожалуй, они слишком боятся и поэтому иногда выглядят смешными. Зато никто не может так ловко выставить человека смешным, как хороший поэт или хорошая женщина.

Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно, но куда хуже совсем не бояться этого.

Мне кажется, что Древний Рим погиб оттого, что его императоры в своей бронзовой спеси перестали замечать, что они смешны. Обзаведись они вовремя шутами (надо хотя бы от дурака слышать правду), может быть, им удалось бы продержаться еще некоторое время. А так они надеялись, что в случае чего гуси спасут Рим. Но нагрянули варвары и уничтожили Древний Рим вместе с его императорами и гусями.

Я, понятно, об этом несколько не жалею, но мне хочется благодарно возвысить метод Харлампия Диогеновича. Смехом он, безусловно, закалял наши лукавые детские души и приучал нас относиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора. По-моему, это вполне здоровое чувство, и любую попытку ставить его под сомнение я отвергаю решительно и навсегда.

Рассказы о Чике

Ночь и день Чика

– А тебе, Ясон, – спросил Чик, – приходилось убивать человека?

Чик лежал на высокой бабушкиной кровати и, приподнявшись, смотрел в противоположную сторону залы – так называли эту комнату. Там почти в полной темноте лежал Ясон. Ясон курил, и огонек папиросы, когда он затягивался, озарял его впалую щеку, коротенький нос и большие губы.

Между Чиком и Ясоном на своем обычном месте лежал дядя Коля, сумасшедший дядюшка Чика. Ставни среднего окна были открыты, и свет уличного фонаря слегка озарял постель и бритую голову дяди Коли.

В столовой спала тетя Наташа, дальняя родственница Чика. Больше в доме никого не было, все уехали в деревню на похороны...

Обычно Чик спал у себя дома, внизу, на первом этаже. Но сегодня бабушка оставила его здесь, чтобы он присматривал за дядей. Сам-то дядя предпочел бы, чтобы Чик за ним не присматривал, потому что в таких случаях Чик редко удерживался, чтобы не подразнить его.

Правда, сейчас Чик, занятый разговором с Ясоном, не собирался его дразнить. Дело в том, что Ясон был вором. Это все знали. Во всяком случае, знали все родственники. Изредка он заходил к ним домой, иногда оставался ночевать и всегда уходил рано утром.

Задав вопрос, Чик напряженно прислушивался, чтобы не пропустить ни одного слова. Прислушиваясь, он поглядывал сквозь среднее окно на уличный фонарь, вокруг которого толклись мотыльки и мошки.

Ясон не спешил с ответом, зато в тишине без умолку раздавалась песенка дяди Коли. Такие песенки, собственного сочинения, без всяких слов, вернее, с выдуманными словами, он всегда пел перед сном, если у него было хорошее настроение.

Иногда он прерывал песню и, приподнявшись, тревожно смотрел в сторону Чика, чтобы вовремя перехватить его очередную проделку. То, что Чик до сих пор ничего не выкинул, беспокоило его, казалось признаком особого коварства.

– Вижу, вижу, – приговаривал он, делая вид, что разгадал замысел Чика и достаточно сурово покарает, когда это будет необходимо. Еще один оттенок легко улавливал Чик в его предупреждении. Он как бы выманивал его из засады – мол, давай, если ты такой храбрый, действуй побыстрее, а там я с тобой разделаюсь, и мы оба освободимся друг от друга. Иногда он поглядывал на Ясона, стараясь предугадать, чью сторону примет этот неизвестный человек в случае столкновения с Чиком.

Собственно говоря, Чик собирался подбросить ему кошку. С этой целью он взял ее к себе в постель, но сейчас, увлекшись рассказами Ясона, забыл о своих планах. Кошка спала, уютно устроившись на простыне, которой укрывался Чик.

Кошек и собак дядя Коля не переносил. Он испытывал к ним яростное отвращение. Было похоже, что он не видел между ними особой разницы. Во всяком случае, и тех и других он обобщенно называл собаками.

Предупредив Чика, что его тайные приготовления не остались незамеченными, дядюшка на время успокоился и снова затянул свою бесконечную мелодию, иногда подражая каким-то музыкальным инструментам, совершенно неведомым Чику, а может быть, и всему остальному человечеству.

– Он что, всю ночь будет так скулить? – неожиданно спросил Ясон, не отвечая на вопрос Чика.

– Это он поет, – ответил Чик, несколько обиженный за дядю, – он так попоет немного, а потом заснет.

– Интересно, что ему сейчас кажется? – сказал Ясон и затынулся. Снова появились в темноте большие губы, коротенький нос и ямина впалой щеки.

– Ничего не кажется, – ответил Чик несколько раздраженно. – Ты лучше скажи, приходилось тебе убивать или нет?

– Было, – сказал Ясон не очень охотно. Чик не мог почувствовать, жалеет он об этом или ему просто лень вспоминать.

– Так расскажи, – снова подтолкнул он его.

– В ту ночь, – начал Ясон, – мы ничего такого не думали. Шли с кино с одним корешом...

– Я его не знаю? – спросил Чик. – Он не из тех, кого я видел на стадионе?

– Не, то был грек, – сказал Ясон с таким видом, как будто среди тех, что были на стадионе, не могло оказаться грека.

...В прошлом году за драку в ресторане Ясона посадили в тюрьму.

Оказывается, он заплатил деньги ресторанному певцу, чтобы тот спел «Здравствуй, моя Мурка». Но певец почему-то отказался петь эту песню, хотя обещал спеть любую другую. Из-за этого все и началось.

Чик вообще считал всю эту историю очень глупой. Если уж Ясону было совсем невтерпеж послушать «Мурку», то он мог прийти к ним домой, и Чик ему спел бы ее, и притом бесплатно.

Одним словом, из-за этого получилась драка, и один из друзей Ясона бросил в певца бутылку из-под шампанского. Но она в певца не попала. Она попала в барабан, и тот лопнул. Не лопни барабан, ничего бы не случилось. А когда барабан лопнул, кто-то решил, что началась стрельба, и позвонил в милицию. Тут приехала милиция, и всех перехватили. Таким образом Ясон оказался на полгода в тюрьме. Вернее, это так считалось, что он сидит в тюрьме. На самом деле он вместе с другими заключенными работал. Чик тогда несколько раз носил ему передачи. Передачи эти – полная сетка продуктов – втайне от домашних собирала бабушка и давала Чикю отнести, потому что работал Ясон совсем рядом, в двух кварталах от дома, на стадионе.

Хотя по дорожке похаживал часовой, пройти к заключенным было совсем легко с другой стороны, где в деревянном заборе была не слишком замаскированная дыра. В другое время ее обязательно заделали бы, а сейчас решили оставить, потому что все равно этот забор собирались заменить каменной оградой. (Среди ребят ходили темные слухи о том, что в гребень каменной ограды собираются вцементировать бутылочные осколки, как это делалось в некоторых местах. К счастью, слухи эти впоследствии не оправдались, но тогда мысль о новом каменном заборе с бутылочными осколками наводила на Чика тоску.)

Даже в самый первый раз, когда Чик приходил сюда со своей тяжелой сеткой, наполненной продуктами, он несколько не боялся часового. Он просто дождался, когда тот повернулся к нему спиной, и пролез в дыру. Потом, когда заключенные хвалили его за храбрость, Чик хотя и не протестовал, но про себя удивлялся их наивности.

Пролезая в дыру, Чик совершенно ясно понимал, что не может наш советский часовой выстрелить в нашего советского школьника. В крайнем случае просто прогонит. Чик это до того ясно понимал, что голова его легко пролезла в дыру. А ведь обычно, когда он пролезал через эту дыру, голова его нередко застревала из-за своего размера и слишком растопыренных ушей. Дело в том, что надо было слегка сунуть голову в дыру, немного поерзать ею, а дальше она сама находила дорогу. Но Чик от волнения часто всовывал голову до отказа, так что поерзать уже было невозможно и приходилось лезть напролом. Чикю всегда казалось, что в таких случаях уши его от предчувствия боли сами прижимаются к голове. А все потому, что он слишком волновался. А часового не надо было бояться, и голова Чика, спокойно поерзав, прошла в дыру.

Арестованные, почти все здоровые и молодые ребята, показались Чикю веселыми и жизнерадостными. Одни из них перетаскивали носилки с песком и гравием, другие гасили в яме известь, третьи копали фундамент для каменной ограды, а четвертые вообще ничего не делали, просто сидели на досках. Чик почувствовал, что Ясона надо искать среди них. Так оно и оказалось.

Чикю было неловко подходить к нему. Он думал, что Ясону будет стыдно перед ним за то, что он оказался в тюрьме, да еще вдобавок ему и голову побрили. Поэтому сам Чик испытывал неловкость. К счастью, Ясон не смотрел в его сторону, и он незаметно подошел к нему.

– А, Чик! – улыбнулся Ясон, увидев его, и, потрепав по голове, взял сетку. Чик сразу же по чувствовал, что Ясон никакого стыда за то, что сидит в тюрьме, или за то, что ему побрили голову, не испытывает. Поэтому он и сам перестал стыдиться. Потом он заметил, что вообще никто из заключенных никакой неловкости не испытывает.

Ясон вынимал из сетки хлеб, сыр, масло, помидоры, соленые огурцы и все это небрежно складывал на досках. Двое заключенных, проходивших мимо с носилками, наполненными гравием, увидев, чем он занят, остановились напротив него и разом, не стовариваясь, бросили носилки, даже не наклонившись.

– А выпить ничего нет? – спросил один из них, усаживаясь рядом с Ясоном, и без всякой видимой причины заголил до колена одну ногу.

– Так это ж бабка! – ответил ему Ясон.

– Вот кран, – показал Чик рукой на колонку. Ему на миг показалось, что им не дают воды. Все засмеялись, и Чик догадался, что они имеют в виду.

Товарищи Ясона расселись на досках поближе к закуске и стали есть.

Сначала почему-то все напали на соленые огурцы и мигом все сожрали. Чик заметил, что все остальное они ели довольно равнодушно. Чик с обидой почувствовал, что рука его все еще ноет от тяжелой сетки.

– Не очень-то, я вижу, вы голодные, – сказал Чик сердито.

Все опять рассмеялись, а тот, что был с оголенной ногой, поощрительно пошлепал свою голую икру – дескать, ничего, справный поросенок.

– Что мы, фрайера, что ли! – сказал он.

Двое из присевших на доски, продолжая жевать и не меняя позы, стали играть в карты. Чик не знал, что это за игра. Он знал только три игры: в «дурака», в «фурт» и в «очко». А это была какая-то странная игра. Один из игроков, беря из колоды карты, самым нахальным образом подсматривал остающиеся. Возьмет две-три нужные ему карты, но при этом обязательно вывернет еще две-три и подсмотрит. А второй игрок как уставился в свои карты, так и смотрит в них не отрываясь. Хоть бы, когда берет карты, на колоду посмотрел, волнуясь, думал Чик. Так нет, он и тут машинально протягивал руку и не отрываясь продолжал смотреть на свои карты. Прямо губошлеп какой-то!

– Да он же все карты подглядывает! – крикнул Чик, не выдержав.

– Ничего, пусть потешится, – сказал тот, так и не оторвав взгляда от собственных карт. И тут Чик по голосу его почувствовал, что он заранее это учел, так что ему даже незачем следить за колодой.

Чик до этого даже и представить себе не мог, что может быть такая игра, где один подсматривает карты, а другой хоть и знает об этом, но никак ему не мешает. Видно, за счет чего-то другого он уравнивает это преимущество, подумал Чик. Может быть, за счет более точной игры или еще чего-то.

Это было похоже на то, как однажды Чик бежал наперегонки с одним мальчиком. Условия были такие: надо было выбегать с одного места в разные стороны и, сделав круг из четырех кварталов, прибежать назад. Чик очень старался, потому что знал, что этот мальчик хорошо бегает.

Они встретились примерно на середине параллельной улицы. Ревниво пропыхтев друг мимо друга, разбежались. Когда Чик выскочил на свою улицу и уже подбегал к тому месту, где они стартовали, он вдруг увидел, что его соперник выбегает со двора соседнего дома. Значит, как только они разминулись, тот решил срезать дорогу и побежал по дворам.

Соперник тоже заметил, что Чик его видит, он даже не мог скрыть смущенной улыбки и все-таки с тупым усердием продолжал бежать, хотя теперь это не имело никакого смысла...

Все-таки Чик пришел первым. Сперва он чуть было не задохнулся от возмущения, но потом, отдышавшись, понял, что мошенник (он все еще смущенно улыбался) вдвойне наказан. Получалось, что он и меньше бежал, и все равно пришел вторым. Оказалось, что прыгать через заборы тоже нелегко, а в одном дворе за ним еще и собака погналась.

Чик вспомнил этот случай, наблюдая за странной игрой в карты. Он пришел к выводу, что мошенничать не так выгодно, как это кажется многим. А в том, что именно так кажется многим, Чик нисколько не сомневался.

– ..Было уже часов так двенадцать, – продолжал Ясон. – Смотрю, в доме напротив парка окна открыты на втором этаже и свет горит. Прислушался – ничего не слышно, как будто спят. А свет горит. Место тоже удобное, и этаж низкий. В случае чего прыгай и чеши через парк. А кореш, который со мной был, оказался трус, но я не знал. Возле нас тоже ошиваются случайные проходимцы.

«Ты, – говорю ему, – кроме помидоров на базаре, что-нибудь воровал?»

«Я цесный вор, кого хочешь спроси», – отвечает он.

Вообще он некоторые слова не так говорил, потому что грек. Не, среди греков мировые ребята попадают, но этот оказался трус.

«Тогда попробуем», – говорю.

Вижу, дрейфит, но не хочет показывать.

«Подожди, – говорит, – есе рано».

«Ну, рано, рано, – говорю, – нас дети дома не ждут».

Пошлялись по городу, вышли на бульвар – вижу, скучает мой кореш. Ну ничего, думаю, сейчас повеселеет. У сторожа павильона покупаю поллитру и колбасу. Сели на берегу, пьем, закусываем. Вижу, он повеселел.

«Прошел мандраж?» – говорю.

«Какой мандраз? – говорит. – Я полезу, а ты стой на вассере».

Кидаю бутылку в море. Вижу – плавает.

«Вот, – говорю, – кто утопит, тот и стоит на вассере».

Смотрю – я не успею один камень поднять, он уже три кинул. Дал я ему утопить эту бутылку, и мы пошли. Все равно я его в дом не собирался пускать – такого мандражиста пусти, все дело испортит. По дороге зашел в один двор и срезал там бельевую веревку. Запихал в карман. Приходим к дому – вижу, окна все еще открыты и свет горит...

– А разве при свете не опасно? – спросил Чик.

– Еще лучше, – радостно пояснил Ясон, – хотя некоторые не понимают.

Когда свет горит, ты сразу все видишь, где что и куда в случае чего бежать.

А без света у него преимущество получается.

– У кого «у него»? – спросил Чик.

– Как у кого? – удивился Ясон и, скрипнув кроватью, повернулся к Чику. – У хозяина! Ведь он и без света знает, где что стоит у него. А ты можешь через какой-нибудь стул перевернуться и срок получить.

– Еще бы, – сказал Чик, – ведь он у себя дома.

– В том-то и дело, – вздохнул Ясон. В голосе его прозвучала обида за преимущество хозяина в знании особенностей своей квартиры. Чику это показалось очень смешным.

Пилюм, пилюм, пилюм, пилюм,
Плюм, плюм, плюм!

Дядя Коля, не прерывая песни, неожиданно перешел на музыкальный инструмент, зазвучавший еще более радостно и энергично.

– Он что, совсем чокнулся? – спросил Ясон, приподнявшись, словно пытаюсь разглядеть инструмент, на котором играл дядюшка Чика.

– Да нет, он всегда такой, – сказал Чик.

– Нет, раньше он был получше, – не согласился Ясон.

– Ты просто с ним никогда не спал, – ответил Чик. – Он всегда так поет, когда у него настроение хорошее.

– С чего он радуется, – пробормотал Ясон, – живую бабу никогда не видел, за хорошим столом в жизни не сидел...

– Ладно, рассказывай дальше, – перебил его Чик. Он не любил, когда начинались такие разговоры про дядю.

– Некоторые думают, что раз горит свет, – продолжал Ясон, – то люди спят некрепко. Но я тебе скажу – это ерунда. Если человек заснул при свете, он так же крепко спит, как и без света.

– Хватит про свет, дальше рассказывай, – перебил его Чик.

– Ну вот, приходим снова, – продолжал Ясон, – а свет горит.

– Я же сказал, хватит про свет, – терпеливо напомнил ему Чик.

– А я и не говорю, – продолжал Ясон. – Я оставил его на вассере, а сам полез...

– Как полез? – снова перебил его Чик, чтобы он не пропускал интересных подробностей. – Ведь на второй этаж трудно залезть?

– Нет, – сказал Ясон, – там было легко. Там была парадная дверь, а над ней такой козырек. Я залез на этот козырек, оттуда на карниз, а по карнизу дошел до окна.

– У нас тоже такой козырек, – вспомнил Чик и посмотрел на закрытые ставни напротив своей кровати. Само окно было открыто, и достаточно было снаружи просунуть нож или проволочку, чтобы скинуть крючок, на который закрывались ставни.

А вдруг Ясон залезет к Богатому Портному, подумал Чик. Квартира Богатого Портного находилась рядом. Можно было вылезти на карниз, а оттуда перейти на его балкон. Летом он всегда был открыт.

– Да, почти такой, – согласился Ясон и, словно угадав мысль Чика, добавил: – На вашего Богатого Портного уф какой зуб имею...

– Ты что? – сказал Чик строго.

– А что? – спросил Ясон.

– Да ты что! – крикнул Чик. – Я ведь с его сыном дружу!

– Вот, Чик, – сказал Ясон, – ты даже шуток не понимаешь.

– Этим не шутят, – важно заметил Чик.

– Вообще, Чик, я тебе честно скажу, ты мне нравишься, – сказал Ясон, – ты не то что эта колхозница... И вот, значит, влезаю в комнату, – продолжал Ясон. – Стою у окна. Вижу, на кровати спит мужчина, слегка похрапывает. Молодец, думаю, спи. Комната хорошая, вообще ничего особенного.

На одной стене ковер, а на нем кинжал для украшения. Ладно, думаю, видал я в гробу этот кинжал. Рядом шифоньер. Но я тебе честно скажу, я шифоньеры вообще не уважаю. Хуже нет – иметь дело с шифоньерами, особенно если в комнате спит человек.

– Потому что скрипит? – легко догадался Чик.

– Да, скрипит, как арба. Я чемоданы уважаю. Взял за ручку и пошел как фрайер. За это я люблю в поездах работать. Лучше поездов ничего на свете нет. Там тебе никаких шифоньеров.

Но вот я нагнулся, и смотрю под кровать, и вижу два чемодана. Один рыжий, другой черный. Потихоньку нагнулся и начинаю вытаскивать черный...

– Собаки! Собаки! Брысь! Брысь! – вдруг заорал дядя Коля, свешиваясь с кровати и заглядывая под нее. Кошка, спавшая у Чика на кровати, вздрогнула и с испугу попыталась спрыгнуть, но Чик вовремя ее перехватил.

– Он что, совсем очумел? – воскликнул Ясон и тоже привскочил с кровати. Дядя Коля смотрел на Чика округлившимися глазами.

– Нету! Нету! – крикнул Чик и для ясности сделал широкий отрицательный жест, чтобы успокоить дядюшку.

– Хитришь?! – настороженно спросил дядюшка.

– Нет, не хитрю, – сказал Чик и опять сделал отрицательный жест.

– Собаки нету? – спросил дядюшка, словно пытаясь уточнить, понимает ли Чик, что именно его беспокоит.

– Нету, – повторил Чик и опять сделал широкий отрицательный жест.

Действовать надо было просто и односложно, чтобы исключить оттенки в истолковании его слов.

– Ха-ха-ха, – рассмеялся дядя Коля, – а я думал – собаки...

Последние слова он произнес извиняющимся голосом. Ему стало стыдно за ложную тревогу. Это не помешало ему, видно, для очистки совести, последний раз крикнуть: «Брысь!» После чего, окончательно успокоившись, он снова запел свою песенку.

– Что это? – строго спросил Ясон.

– Ему показалось, что у него под кроватью кошка, – сказал Чик просто.

Он чувствовал, что с Ясоном тоже надо говорить односложно.

– По-моему, он говорил о собаках, – еще строже возразил Ясон, – или меня здесь за дурака принимают?

– Он и собак и кошек называет собаками, – объяснил Чик, стараясь придать голосу самую обычную интонацию.

– Тогда откуда ты знаешь, что он кричал на кошку? – спросил Ясон.

– Просто наша Белка сюда редко заходит, – сказал Чик.

– Он что, и собакам и кошкам говорит «брысь»? – спросил Ясон, несколько успокоившись.

– Да, – сказал Чик, – так ему запало в голову.

Вообще-то Чик не раз об этом думал и пришел к выводу, что, раз дядя Коля и собак и кошек называет собаками, какая-то сила заставила его уравновесить эту несправедливость по отношению к кошкам возгласом «брысь».

Но Чик не стал излагать Ясону свою догадку – он чувствовал, что это для него слишком сложно.

– А больше ему ничего не запало? – спросил Ясон.

– Нет, – сказал Чик. – Рассказывай дальше.

– Лучше в КПЗ ночевать, чем с ним, – сказал Ясон.

– Он, если его не трогать, никогда не тронет, – сказал Чик.

– Откуда я знаю! – ответил Ясон и добавил: – А вообще он кумекает, о чем мы говорим?

– Что ты! – успокоил его Чик. – Он ничего не понимает, он даже плохо слышит.

– А эта колхозница, интересно, спит? – спросил Ясон. Так он называл тетю Наташу. Слово «колхозница» звучало у него презрительно. Чикун нравилась тетя Наташа, и ему было обидно, что Ясон ее так насмешливо называет.

– Да, спит, – сказал Чик.

– Ты тоже язык придерживай, – посоветовал Ясон и, подумав, добавил: – Хотя с тех пор прошло много лет, затаскают...

Чик промолчал.

Дядя Коля вовсю распелся. Чик чувствовал, что пение доходит до того момента, когда он не в силах передать свой восторг выдуманными словами и перейдет на язык выдуманных инструментов.

– Я вижу, он из тех, что всю ночь верещат, – сказал Ясон, прислушиваясь к пению и правильно почувствовав, что оно не скоро кончится.

– Нет, – сказал Чик. – Ты рассказывай, а он тут же уснет.

– Так я и поверил! У меня знаешь невры какие?

– Какие? – спросил Чик.

– У меня невры как папиросная бумага, – гордо сказал Ясон. – Не дай бог, если я заведусь.

– Надо говорить не невры, а нервы, – поправил его Чик. Пожалуй, это он мстил за тетю Наташу.

– Я и говорю – невры, – сказал Ясон.

– А надо говорить – нервы, – доброжелательно повторил Чик.

– Я и говорю невры, – повторил Ясон, начиная раздражаться. – Что ты мне мозги лечишь? Недаром мне говорили, что ты ехидина...

– Ладно, – сказал Чик примирительно. – Отчего у тебя такие нер-вы?

– Как отчего? От поездов! – удивился Ясон его наивности. – Сколько раз на ходу приходилось прыгать!

Только он это сказал, как дядя Коля перешел на музыкальные инструменты:

Тюрли фук! Тюрли фук! Тюрли фук!

Мелодия побежала сквозь скважины загадочной дудки.

– Во соловей! – сказал Ясон и с раздражением вспомнил о тете Наташе: – А колхозница спит... Ей хоть бы что...

Чик промолчал. Он знал, что, если сейчас начнет ее защищать, Ясон и в самом деле заведется, и тогда неизвестно, чем все это кончится. Тетя Наташа ни капли не скрывала своего презрительного отношения к Ясону. Он отвечал ей тем же. Он говорил, что она, кроме сарая, где нижут табак, ничего на свете не видела и дальше Очамчиры нигде не бывала, тогда как он объездил полстраны на своих поездах. Он даже сомневался, видела ли она когда-нибудь поезд.

– И видеть не хочу, так же как и тебя, – безжалостно отвечала тетя Наташа.

Чик не одобрял такую резкость, тем более что скоро поезда должны были появиться в Абхазии, потому в городе возвели эстакады и Чернявскую году продырявили тоннелем.

Вообще все взрослые родственники поругивали Ясона. Правда, не так уж слишком, потому что он редко приходил в гости. Только бабушка как начнет его пилить, так и пилит, пока он не уйдет из дому. Чик знал, что она-то как раз его жалеет, потому что он был сыном ее брата. Другие ему просто предлагали стать человеком, то есть таким, как они. Но он с этим не соглашался, потому что и так считал себя человеком, и притом более высокого сорта, чем они.

Казалось, обе стороны выжидали, чтобы наяву убедиться, чей образ жизни окажется в конце концов более правильным и потому более выгодным. Наверное, из-за этого, хотя и с некоторыми предосторожностями, Ясона пускали в дом, и он, в свою очередь, терпел поучения родственников. Так думал Чик.

Скрипнув кроватью, Ясон потянулся к пепельнице, чтобы достать окурочек.

Пепельница стояла на полу. Снова спичка озарила коротенький нос, большие губы и тени впалых щек. Он откинулся на подушке и пыхнул папиросой.

– Ты стал тянуть чемодан, и вдруг что-то случилось, – напомнил Чик.

– Да... Слышу – перестал храпеть. Я перемандражил и совсем залез под кровать. Думаю, если он сам проснулся, ничего не заметит. Минут двадцать пролежал под ним, чувствую – спит.

– Начал храпеть? – спросил Чик.

– Нет, – сказал Ясон, – по дыханию вижу. Я по дыханию лучше доктора могу определить, спит человек или притворяется.

– У спящего ровное дыхание, – заметил Чик.

– Это ерунда, – сказал Ясон, – ровное дыхание можно придумать. Но есть такое, что ни за что не придумаешь.

– А что это? – спросил Чик.

– Это так не расскажешь, – ответил Ясон, – это надо как следует перемандражить несколько раз, тогда почувствуешь. Да тебе это и не надо знать... Одним словом, вижу – спит. Потихоньку выволакиваю чемодан, подхожу к окну. Смотрю – нет моего паразита. Оказывается, он в парке из кустов выглядывает. Еле увидел. Ничего себе на вассере стоит! Я, значит, тут рискую, а он голову прячет. Даю знак – подходит. Я прицепил чемодан к веревке и осторожно спустил ему. Даю знак, что еще буду спускать. Он отвязывает веревку, переходит улицу, перелезает через ограду и стоит там в кустах... Лиандры, что ли, называются... Такие вонючие цветы?

– Да, да, – живо подтвердил Чик, – это олеандры, у них цветы, когда переспеют, вонять начинают...

– И вот он, значит, – продолжал Ясон, – стоит среди этих вонючих цветов, сам такой же вонючий, а я подымаю веревку, кладу ее на подоконник и только поворачиваюсь, как вдруг открывается дверь во вторую комнату и в дверях останавливается женщина.

– И она тебя не видит? – спрашивает Чик, пораженный таким ходом событий. Чик даже привскочил на кровати, что не понравилось кошке. Но сейчас ему было не до нее.

– Как не видит?! Прямо на меня смотрит! – восторженно говорит Ясон.

– И что она говорит?

– Ничего не говорит. Стоит и смеется!

– Смеется?!

– В том-то и дело, что смеется.

– Но почему?

– Откуда я знаю! Наверно, от страха или стыда. Она же голая.

– И он просыпается от ее смеха? – догадывается Чик, чувствуя, как волосы у него на затылке привстали, аж кожа на голове защемила.

– В том-то и дело, что нет! Она так тихо, тихо смеется и вся дрожит.

– Но почему она полезла среди ночи в эту комнату? Она что-нибудь услышала? – допытывается Чик, отчетливо представляя эту ужасную картину.

Вот она стоит в дверях, тихо смеется и вся дрожит голым телом. Чик почему-то представил, что эта дрожащая кожа совершенно белая, даже слегка пупырчатая, вроде бы от холода, хотя где взяться холоду, когда олеандры на всю улицу воняют. Чик чувствует, что если бы эта женщина была позагорелей, то картина получилась бы не такая ужасная.

– Да нет, – усмехнулся Ясон.

– Я знаю, – вдруг догадался Чик, – она была лунатик! Она искала выход к луне.

– Лунатик! – презрительно повторил Ясон. – Если ты лунатик – лезь на крышу, а не мешай людям... спать.

Чик почувствовал, что последнее слово прозвучало неубедительно.

– И ты его... убил? – спросил Чик, холодея, хотя и так уже знал, что он именно этого мужчину убил. Он хотел представить, что бы было, если бы этот мужчина не заснул. Но у него ничего не получилось. Он только представил, что этот мужчина неподвижно лежит себе с открытыми глазами и скучно так, скучно смотрит в потолок, как бы заранее готовясь к состоянию мертвеца.

– Да, – сказал Ясон и неожиданно добавил: – Слушай, Чик, у меня папиросы кончились. Где теткин папиросы лежат, знаешь?

– Знаю, – сказал Чик, вставая, – сейчас принесу.

– Она что, «Рицу» курит?

– Да, – сказал Чик и вышел из зала. Он тихо прошел через столовую, где спала тетя Наташа. Пол в столовой был крашеный и, наверное, поэтому быстрее остывал. Ступать по нему босыми ногами было приятно. Он вышел на веранду и нащупал возле столика, где стоял самовар, начатую пачку папирос «Рица», которые курила его тетушка.

Чик часто бегал за этими папиросами в магазин, потому что тетушка ему доверяла покупать эти папиросы, а старшему брату не доверяла. Тот уже покуривал и мог незаметно открыть пачку, вытащить оттуда пару папирос и снова закрыть ее. Сначала тетушка, если замечала, что в пачке не хватает папирос, все сваливала на фабрику и со странной радостью всем рассказывала, что фабрика ее обманула. Потом однажды было замечено, что фабрика тут ни при чем, а во всем виноват старший брат Чика. Чик ожидал, что теперь она всем расскажет, что ошибалась насчет фабрики, как бы извинится перед ней. Но ничего такого не произошло. Тетушка про фабрику больше не вспоминала, хотя при случае с таким же странным удовольствием рассказывала, что, оказывается, брат Чика покуривает и поворачивает у нее папиросы. Так как при этом она не вспоминала про фабрику, в головах у знакомых могла произойти путаница, они могли подумать, что фабрика поворачивает папиросы и брат Чика поворачивает, так что неизвестно, что остается курить самой тетушке. Неряшливостью образа мыслей – вот чем удивляли Чика многие взрослые. Среди взрослых первое место занимали женщины. Среди женщин наипервейшее место занимала тетушка.

На веранде, целый день открытой солнцу, было особенно душно. Ночь все еще никак не могла остыть. Светили звезды, но луны не было. Впереди в самом конце неба подымалось легкое зарево. Там был порт. Рядом с верандой весело светила оцинкованная крыша соседского дома. Уже несколько месяцев в желобе, проходящем вдоль крыши, лежал великолепный теннисный мяч, случайно заброшенный сюда с какого-то соседского двора. Чик нащупал его глазами и с удовольствием убедился, что он на месте. На крышу нельзя было залезть, но он знал, что мячик медленно, но неуклонно продвигается в сторону водосточной трубы. После каждого сильного ливня он продвигался вперед на целый метр или даже полтора. Иногда его задерживали вмятины или рубцы на поверхности желоба, но рано или поздно он все равно перескакивал через них и неуклонно приближался к водосточной трубе.

По расчетам Чика, теперь мячу хватило бы одного или двух хороших ливней, чтобы булькнуть в бочку под водосточной трубой. И тут надо было не прозевать этот прекрасный миг. В последние дни стояла страшная духота, и можно было ожидать, что на город вот-вот обрушится хорошая гроза. Но она все еще никак не обрушивалась. Небо оставалось чистым и ясным.

Чик приоткрыл дверь в столовую, где спала тетя Наташа, тихо закрыл и на цыпочках перешел комнату. Открывая дверь в залу, Чик на минуту приостановился. Он прислушался к дыханию тети Наташи, чтобы определить по дыханию, спит она или нет. Хотя он и так знал, что она спит, ему почему-то было любопытно прислушаться к ее дыханию. Дыхания не было слышно. За открытым окном серел мощный ствол кипариса. Чик постоял немного и вошел в залу, прикрыв за собой дверь. Чик прошел мимо дяди Коли, подошел к кровати Ясона и подал ему пачку.

– А этот Лемешев уснул, – сказал Ясон и, зашуршав пачкой, вытащил оттуда папиросу.

– Я же говорил! – напомнил Чик и подошел к своей кровати.

Дядя Коля спал, откинувшись на подушке и приоткрыв рот.

– Рассказывай дальше, – попросил Чик, залезая на кровать. Он укрылся простыней и, нащупав кошку, погладил ее. Она, не просыпаясь, поблагодарила его урчаньем.

– А этот не проснется? – насторожился Ясон.

– Нет, – сказал Чик, – раз уж он заснул, он не проснется... Лишь бы тетя Наташа не проснулась.

– Да за колхозницу я и говорить не хочу, – отмахнулся Ясон и, затянувшись, продолжал: – Так вот, значит, я стою среди комнаты, а эта женщина смотрит на меня, вся дрожит и смеется. Я показываю ей кулак, чтобы молчала, и, не спуская с нее глаз, лезу в окно. Я уже взялся одной рукой за подоконник, скинул веревку вниз, как вдруг этот мужчина вскакивает, как будто его палкой ударили, и бежит на меня.

– Он тоже был голый? – спросил Чик.

– В том-то и дело, что нет, – ответил Ясон. – Если б он был голый, ничего бы такого не случилось. Голый человек никогда на тебя не полезет.

Одним словом, я уже выполз на карниз и только хотел спрыгнуть, как он меня успел схватить. Одной рукой душит за грудь, другой ухо рвет, сволоочь. Я тык-мык, ничего не могу сделать. Страшная боль. Сейчас или ухо оторвет, или задушит. Ну, я сунул в него нож – сразу отпустил. Прыгаю вниз, хватаю веревку и бегу через парк. В этих вонючих лиандрах запутался, упал. Все же вскочил и веревку тоже не бросил, бегу через парк. А сзади уже, слышу, окна открываются, крики раздаются.

– А товарищ где? – спросил Чик.

– Он еще раньше побежал, как только увидел, что мы завоились. Мы договорились в случае чего встретиться на берегу в уборной.

– В уборной? – удивился Чик.

– Да, – сказал Ясон, – там всегда можно закрыться и спокойно посмотреть, что к чему. Вхожу – вижу, одна дверь закрыта. Думаю, он или не он? Думаю, неужели он с чемоданом раньше меня через полгорода пробежал? Так оно и оказалось.

«Это ты, Ясон?» – спрашивает.

«Открывай, – говорю. – Хорошо, что ты в Грецию не убежал».

Одним словом, заперлись там, раскрыли чемодан, смотрим – одно барахло.

Лучше б я рыжий взял, в рыжем всегда что-нибудь есть. Правда, там лежал один хороший коверкотовый отрез и две мужские сорочки. Все остальное – ерунда.

Отрез загнали одному портному, хорошие деньги дал... Интересно, ваш Богатый Портной отрезы покупает?

– Нет, – сказал Чик, – он такими делами не занимается.

– Ты в натуре дружишь с его сыном?

– Да, – сказал Чик.

– Интересно, где у его пахана деньги лежат, он знает?

Чик не мог понять, шутит он или говорит всерьез.

– Отстань, – сказал Чик, – лучше дальше рассказывай.

– А что рассказывать! – зевнул Ясон. – Ох, поясница... Кроме отреза, я все спустил в уборную. Чемодан тоже сломал и спустил в уборную. А между прочим, этот мандражист сорочки не хотел отдавать. «Зацем, – говорит, – выбрасывать? Я, – говорит, – сестрице отдам, сестрица перекрасит...»

– Значит, золота не было? – спросил Чик после некоторой паузы.

– Откуда золото! – пробормотал Ясон уже ворчливо, сонным голосом.

Ясон начал засыпать. Чик чувствовал какую-то неудовлетворенность от его рассказа. По правде сказать, он ожидал чего-то страшного, таинственного. А тут все оказалось слишком просто, даже как-то противно. Особенно эта подлая попытка перекрасить рубашки убитого и носить.

– Может, ты его ранил? – спросил Чик, немного помолчав.

– Убил, убил, – пробормотал Ясон, с досадой одолевая дремоту. Но Чика это бормотание совсем не убедило.

Чик замолчал. Вокруг уличного фонаря все так же с бессмысленной яростью толклись мотыльки. Большая черная бабочка, которой раньше там не было, сейчас дрябло трепыхалась среди них.

Он снова представил, как эта женщина тихо смеется, глядя на Ясона, а тот отступает к окну и грозит ей кулаком, а тут вскакивает этот мужчина и безоружный бежит на Ясона.

– Хоть бы сначала за кинжалом побежал! – сказал Чик. Но Ясон ничего не ответил. Он уже храпел.

Странно получается, подумал Чик. Если бы этот мужчина не уснул, ничего бы не случилось. Он бы закричал, как только Ясон появился в окне, а Ясон спрыгнул бы и убежал. Сколько случайностей, подумал он, и как, оказывается, просто убить человека! Чик стало не по себе. Особенно гадостно снова показалось ему предложение перекрасить рубашки, а потом носить.

«Сестрица перекрасит», – вспомнил Чик и вздрогнул.

Ветхие ставни в окне напротив Чика время от времени поскрипывали, с гор потягивал ночной ветер. Если бы вор вздумал забраться сюда, подумал Чик, он полез бы через это окно. Ведь оно было ближе остальных к железному козырьку над парадным входом.

Теперь Чик прислушивался к ставням. Каждый раз, когда они издавали скрип, Чик замирал и прислушивался. Иногда ему казалось, что кто-то стоит на карнизе и осторожно пробует скинуть крючок на ставне. Крючок еле слышно поскрипывал. Чик понимал, что это ему кажется, потому что крючок поскрипывал вместе со ставней, а ставня покачивалась от ветра. Чик знал, что летними ночами ветер всегда дует с гор. Но все-таки как-то неприятно было это еле слышное «кпр-кпр...». Слово кто-то пробует крючок, пробует...

Чик лежал на спине, глядя в потолок и прислушиваясь к поскрипыванию ставен. По потолку, слегка озаренному уличным фонарем, время от времени проходили таинственные тени. Чик стал следить за ними, стараясь отвлечься от неприятных мыслей. Он и раньше замечал эти тени, но никогда не знал, откуда они берутся. Вот проскользнули две тени, а вот целая вереница теней печально прошествовала и растворилась над его головой. Некоторые тени, дойдя до середины потолка, как бы вспомнив, что они что-то забыли, нерешительно возвращались обратно. Иногда ему казалось, что их кто-то окликнул, и вот они возвращаются. Ему казалось, что он даже угадывает смысл этого бесшумного оклика – мол, подождите, сейчас не ваша очередь. Он так думал, потому что через некоторое время эта же самая тень, он узнавал ее по очертанию, снова появлялась и уже спокойно проходила свой непонятный путь.

Чик умом понимал, что они, эти тени, как-то связаны с тем, что происходит на улице, что они идут откуда-то оттуда. Но дело в том, что на улице ничего не происходило. Если бы проезжала машина или фаэтон, или в соседнем доме открывали освещенное окно, или поблизости колыхалось дерево, тогда было бы все понятно.

А сейчас Чик казалось, что эти тени связаны с ушедшим днем или даже с давным-давно прошедшими днями. То ли тени каких-то людей, то ли тени каких-то дневных событий... Что-то там получилось не так, они как-то выскочили из отведенного им времени, и вот они ходят, чего-то ищут, что-то пытаются сделать. Чик было жалко этих неудачников дня – не смогли завершить свои дела днем, что же у них получится ночью?

Так, бывало, в школе, когда тебя выгонят из класса, ходишь по школьному двору неприкаянный, не знаешь, что делать. купишь стакан семечек у бабки, а они невкусные, или залежешь на турник и висишь, висишь, даже подтягиваться неохота. Все не дождешься звонка, чтобы слиться со своими и быть счастливым оттого, что ты с ними вместе. Правда, потом, после звонка, слившись со своими, ты уже не чувствуешь этой радости, и даже как-то странно, что тебя так тянуло к ним.

Чик вздохнул и повернулся к стене с решительным намерением уснуть. Надо думать о приятном, подумал он, например, о завтрашнем дне. Главное, что он обязательно будет, и все, что сейчас кажется тревожным, исчезнет, а если вспоминать, покажется глупым и смешным.

Сладость предстоящего дня ощущалась как сладость ясности. Он совсем успокоился и, уже засыпая, вдруг подумал, что и ночь по-своему хороша.

Именно тем и хороша, почувствовал он, что в ее крошечной тьме с особенной силой ощущаешь сладость предстоящего дня, благодарность за то, что день был и будет.

Чик уже совсем засыпал, а может, даже и заснул, когда Ясон вдруг что-то быстро-быстро забормотал во сне. Чик очнулся и со страхом стал прислушиваться к этому бормотанию. Какая-то злобная жалоба чувствовалась в голосе Ясона. Внезапно бормотание затихло, но тишина сделалась еще страшней, затаила грозный смысл этого бормотания.

Чик приподнялся на постели и посмотрел в сторону Ясона. Но там ничего не было. Было видно только смутное очертание постели. Чик перевел взгляд на дядю. Тот спал, как обычно, слегка закинув голову и приоткрыв рот. Привычная поза дядюшки немного успокоила Чика. Он всегда спал спокойно, никакого там тебе бормотания или угроз. Странно, подумал Чик, сумасшедший спит, как нормальный, а нормальный спит, как сумасшедший.

А вдруг он не спит, подумал Чик, а только притворяется, ждет, чтобы я заснул? Может, он теперь жалеет, что все это рассказал? Может, он думает, что я завтра пойду в милицию?

Надо было твердо ему сказать, думал он, что я умею держать язык за зубами. Почему я тогда ему ничего не сказал, подумал он, удивляясь своему легкомыслию.

Все-таки Чик хорошо помнил, почему он тогда промолчал. Нет, не потому, что он думал выдать Ясона.

Он понимал, что это подло. Раз человек доверился, значит, нельзя. Если б Чик сам, как Шерлок Холмс, раскрыл его преступление, тогда б совсем другое дело. А так нельзя – это Чик знал точно. И хоть Чик знал, что никому ничего не скажет, раз тот просил держать язык за зубами, Чик как-то почувствовал, что полностью лишать Ясона тревоги тоже нехорошо. Поэтому ел тогда и промолчал. Но сейчас Чик жалел об этом, потому что ему стало страшно.

Он снова попытался уснуть, но у него опять ничего не получилось. Ему показалось, что кошка лежит слишком близко и дышит ему прямо в лицо. Чик ее отодвинул и положил между собой и стенкой на уровне живота. Чик считал, что это достаточно уютное место, но она полежала там с минуту и, видимо, решив, что Чик уже заснул, вкрадчивой походкой подошла к его лицу и улеглась. Чик эта вкрадчивая походка как-то не понравилась. Он ее снова, теперь уже более властно, отодвинул на отведенное место. Кошка как будто уснула, но Чик никак не мог уснуть.

Время от времени подушка делалась липкой и горячей. Чик переворачивал ее и погружал щеку в успокоительную прохладу нетронутой стороны. Через несколько минут она опять делалась невыносимой.

– Ребята, договоримся! – вдруг закричал Ясон и присел на кровати.

Чик тоже вскочил, ожидая самого худшего, но Ясон больше ничего не сказал. Кровать под ним закричала. Видно, он, так и не проснувшись, снова улегся.

– Ты что-то сказал? – спросил Чик через некоторое время. Голос его прозвучал неприятно. Чик слышал в тишине, как бешено колотится его сердце.

Словно в ответ на слова Чика Ясон захрапел. Притворяется, подумал Чик, недаром он скрыл от меня признаки спящего человека. Он заметил, что я не сплю, и, чтобы успокоить меня, захрапел. А как только я усну, он встанет и задушит меня.

Пусть только встанет, подумал Чик, храбрясь, я так закричу, что вся улица проснется. Дядя Коля намного сильнее Ясона, так что скрутит его в одну минуту. Да и тетя Наташа его ничуть не боится.

Постепенно Чик опять успокоился, но теперь ему стало грустно. Жизнь показалась ему какой-то непрочной, ненадежной.

Вот так живешь себе, живешь, подумал Чик, и вдруг кто-то тебя убивает ни с того ни с сего. Он чувствовал, что жизнь от смерти отделяет слишком тонкая, слишком нежная пленка.

В этом была какая-то грустная несправедливость. Странно, что днем он этого никогда не чувствовал.

Казалось, что днем жизнь защищена от смерти солнечным светом, как апельсин толстой кожурой. Ночь отдирает от жизни ее защитную солнечную кожуру апельсина, и вот уже тысячи враждебных сил готовы вонзиться в обнаженную мякоть жизни. Чик это чувствовал сейчас всем своим телом.

И не только Ясон со своей тайной. Например, скорпион может заползти на кровать. Хотя от его укуса, кажется, никто не умирал, все-таки это ужасно – когда укусит скорпион. Лучше пусть меня сто раз укусит собака, чем один раз скорпион, подумал Чик.

Он привстал и внимательно оглядел стену, чтобы проверить, нет ли поблизости скорпиона. Стена была вся в пятнах отколотой штукатурки и в разводах сырости. Хотя Чик ее прекрасно знал, но сейчас, в полутьме, одно пятно показалось ему подозрительным, и он долго ожидал, не шевельнется ли оно. Нет, все-таки это был не скорпион.

Дом, в котором жил Чик, был старый и сырой. В нем водились скорпионы.

Чик сам несколько раз находил скорпионов. С каким омерзением, бывало, Чик пригвождал скорпиона к стене ножницами, а тот извивался-извивался и наконец, поняв, что ему некуда деться, закидывал свой отвратительный хвост и жалил самого себя в затылок.

Убитого скорпиона обычно засовывали в бутылку с подсолнечным маслом.

Говорят, потом он туда выпускает свой яд, и, если кого-нибудь укусит скорпион, надо смазать этой жидкостью укус. Бутылка со скорпионами висела на солнце на одном из окон веранды. Она висела там с незапамятных времен, и, хотя в доме Чика скорпионы никого не кусали, все-таки, как только обнаруживался скорпион, его убивали и засовывали в бутылку – авось пригодится.

Чик вспомнил несколько выдающихся случаев, связанных с укусами скорпионов, хотя ему совсем не хотелось об этом вспоминать. Так, одному человеку, пока он спал, скорпион залез в туфлю. А когда человек проснулся и сунул ногу в эту туфлю, скорпион его укусил. А другой человек проснулся утром и полез под подушку, где у него лежали часы, чтобы узнать, пора ему вставать или еще можно полежать в постели. И вот он сует руку под подушку, а там его уже скорпион дожидается.

Чик вдруг увидел, что стрелки часов превратились в осторожные клешни скорпиона, и он никак не мог понять, были ли вообще часы, или это скорпион притворился часами. Эта коварная неясность превращения часов в скорпиона какой-то страшной тревогой стала давить на Чика, словно это превращение грозило возможностью других, еще более страшных превращений. Может быть, друга во врага, может быть, мамы в мачеху или любимого героя гражданской войны в затаенного шпиона фашистов.

И вот Чик чувствует: чтобы все эти превращения не совершились, он должен во что бы то ни стало ясно себе представить и понять, как и почему часы превратились в скорпиона. Чик сделал невероятное усилие над собой, чтобы вырваться из этой неясности, и проснулся.

Ну конечно же, часы лежали под подушкой сами по себе, а скорпион заполз туда сам. Оказывается, Чик задремал, и ему это все примерещилось. Ему захотелось перевернуть разгороженную подушку. Если под нею окажется скорпион, подумал он, приподымая подушку, надо сразу же его прихлопнуть этой же подушкой, спрыгнуть с кровати и зажечь свет. А там видно будет, что делать дальше.

Нет, скорпиона пока что, во всяком случае под нею, нет. Скорее всего скорпион может заползти в постель со стены. Чик тщательно отодвинул простыню – так, чтобы она ни в одном месте не прикасалась к стене. Пришлось побеспокоить кошку. Она никак не хотела сходить с насиженного места и лежала на нем отяжелевшим комом. Тут он вспомнил, что кошки тоже довольно опасные животные. Он вспомнил рассказ про одну кошку, которая не то задушила больную девочку, не то выцарапала ей глаза.

Нет, пожалуй, надо прогнать ее, подумал он, вспомнив, как она упорно хотела остаться лежать возле его головы, да еще, думая, что он уснул, подходила к нему вкрадчивой походкой. Все-таки жалко было выгонять ее с кровати, но он преодолел жалость и спустил ее вниз.

Чик снова улегся, но почувствовал, что для полного спокойствия еще что-то надо сделать. Да, вспомнил он, надо утром вытряхнуть сандалии, прежде чем надевать их на ноги. А то сунешь ногу, а там скорпион. А вдруг забуду? – подумал он. Он слез с кровати, нашел свои сандалии, перевернул их и придавил к полу, чтобы для скорпиона не оставалось ни одной щелочки.

Чик снова залез на кровать и тут вспомнил об одном потрясающем скорпионе. О нем рассказывал соседский старик Габуня. Однажды на крыше своего дома этот старик заметил огромного скорпиона. Он был величиной с черепаху.

Это случилось до революции, в николаевские времена. Тогда еще попадались огромные первобытные скорпионы. Когда этот скорпион проползал по крыше, под ним трещала черепица. Так рассказывал старик Габуня.

Некоторые не верили его рассказу, считая старика придурковатым. Но Чик сразу поверил. Именно потому, что он был придурковатым стариком, сообразил Чик, он никак не мог придумать, что черепица трещала.

Старик Габуня хотел пристрелить скорпиона, но, пока ходил за ружьем, скорпион залез под какую-то черепицу. Старик не стал разбирать крышу из-за этого скорпиона, он просто махнул на него рукой и продолжал жить в своем доме как ни в чем не бывало.

Чик ни за что не стал бы жить в доме, где есть хотя бы один скорпион величиной с черепаху.

А хорошо быть придурковатым, неожиданно позавидовал Чик старику Габуня. Придурковатому ничего не страшно. Может, у него сейчас черепица на крыше трещит под гигантским скорпионом, а он спит себе и ни о чем не думает.

Чик сам не мог понять, спит он или не спит, когда вдруг что-то мягкое и страшное рухнуло ему на живот.

Скорпион-гигант!!! – мелькнуло в омертвевшем сознании, и в какую-то долю секунды Чик даже успел сообразить, как тот сюда попал: полз по потолку и рухнул под собственной тяжестью. А еще через мгновение догадка спасительной радостью разлилась по телу: да нет! Это же кошка!

Ух, вздохнул Чик, надо ее совсем убрать отсюда. Сам же я виноват, что она здесь.

Горло у него пересохло от пережитого ужаса.

Он спустился с кровати, взял кошку в охапку и понес на веранду. Проходя по комнате, где спала тетя Наташа, Чик прислушался к ее дыханию, но опять ничего не услышал – так тихо она спала. Чик постоял немного на прохладном полу и пошел дальше. Здесь было почему-то гораздо спокойней, чем в той комнате. Если б я здесь спал, подумал Чик, я бы давно заснул. Чик и сейчас перешел бы в столовую, но здесь стояла только одна кушетка, и на ней спала тетя Наташа.

Чик вышел на веранду и выпустил кошку. Он посмотрел на соседскую крышу и привычно нащупал глазами теннисный мяч, лежавший в водосточном желобе. Еще пару хороших ливней, и он скатится вниз. Главное – не прозевать, с приятной озабоченностью подумал он.

В гуще кипариса за окнами веранды слышался тихий гомон спящих птиц. В кипарисе спали воробьи. Он стоял под окном, где спала тетя Наташа.

С кипарисом Чика связывала великая тайна. Из ствола кипариса примерно на уровне окна торчала засохшая ветка. Хотя она и высохла, все-таки она была крепкая, Чик был в этом уверен. У него был немалый опыт лазанья по деревьям, и он по виду ветки мог определить, достаточно ли она крепкая, чтобы выдержать человека.

Чик несколько раз пытался прыгнуть на нее из окна, но каждый раз ему чуть-чуть не хватало смелости. Стоило слегка наклониться к ней и спрыгнуть с подоконника, как можно было вцепиться в нее и слезть вниз. Прыгнуть и зацепиться за ствол было невозможно, потому что он был слишком толстый и гладкий. А за эту ветку можно было. Другие ветки начинались гораздо выше, а здесь, на уровне второго этажа, это была единственная высохшая ветка, вернее, обрубок ветки, сливающийся со стволом и почти незаметный со стороны.

Каждый раз, когда Чик хотел спрыгнуть на нее с подоконника, ему чуть-чуть не хватало смелости. В конце концов он решил, что все дело в том, что сейчас нет причины, ради которой стоило бы рисковать, а когда будет стоящая причина, он спрыгнет не моргнув глазом. Чик это знал точно.

И вот однажды ему открылась причина, великий повод, из-за которого он спрыгнет на эту ветку. Скоро так или иначе начнется война с фашистами, думал Чик. И вот если они займут наш город (временно, конечно!) и устроят штаб в нашем доме...

Они, конечно, будут охранять все выходы и входы, но об одном никак не смогут догадаться – что кто-то может из дома спуститься по кипарису. Это им и в голову не придет: кто же будет прыгать на толстый гладкий ствол кипариса! И тут-то Чик совершит свой подвиг.

Он спрыгнет на эту ветку – разумеется, с полной пазухой тайных документов – и удержит к своим.

Вот какая великая тайна была у Чика. Забыв все свои ночные страхи, он сейчас лакомился мечтой о своем будущем подвиге. Насытившись мечтой о великой тайне, Чик стал думать о тете Наташе, потому что с ней у него тоже была связана тайна. Правда, не такая великая, но все же приятная.

Дело в том, что тетя Наташа ему давно нравилась. Чик теперь даже не мог вспомнить, когда она ему начала нравиться. Ему нравилась ее быстрая походка, длинные косы и маленькая голова. А главное – ему нравилось, когда тетя Наташа его целовала.

Вообще-то Чик терпеть не мог, когда его кто-нибудь целовал. Как назло, родственники и знакомые их семьи беспрерывно чмокались, и Чик, как самому младшему, доставалось больше всех. Увернуться было почти невозможно – очень уж они все обидчивые были! Даже утираться после поцелуев приходилось тайком.

Особенно противны были поцелуи пьяных, небритых мужчин. Но еще противней были поцелуи тетушкиных подружек с накрашенными губами. Какую-то злобную энергию вкладывали они в свои поцелуи, словно Чик был виноват, что у них там что-то не получалось.

И вот среди всех этих поцелуев, которые он отбывал как повинность, однажды он с изумлением почувствовал, что бывают приятные поцелуи. Чик тогда подумал и решил, что это происходит оттого, что от нее хорошо пахнет. От тети Наташи пахло деревенской кухней, точнее – запахом копченого сыра и жареной кукурузы.

Этой весной тетя Наташа вышла замуж, и Чик, когда узнал об этом, решил, что теперь она не станет его целовать, или даже если будет, то ему самому это будет не так приятно, как раньше. Но когда она приехала в город, и поцеловала его, и Чик прислушался к действию поцелуев, он вынужден был признать, что ничего такого не случилось. Поцелуи не потеряли приятности, они даже стали еще пахучее.

Удивительно, вдруг подумал Чик, что две мои тайны оказались рядом: по одну сторону окна – кипарис, по другую – тетя Наташа. Что бы это могло означать? – подумал он. Во всяком случае, это неспроста так получилось.

Может быть, обе тайны хотят соединиться? Но для чего?

Ему захотелось напиться, и он открыл кран. Спешить было некуда, и он сначала пустил воду, чтобы вылилась вся, которая была в надземной части трубы. Чик пальцами почувствовал, когда стала подходить свежая подземная вода. Он напился, вытер рот и тихонько, стараясь

не скрипеть, вошел в столовую. На этот раз он решил пройти возле кушетки, где спала тетя Наташа.

Он тихонько подошел к кушетке и остановился, затаив дыхание. Тетя Наташа спала, завернувшись в простыню. Лицо ее было повернуто к стене. Окно было открыто, и ствол кипариса сейчас казался толще, чем он был на самом деле, и гораздо ближе к окну. Казалось, протяни от окна руку – и достанешь до ствола.

Гомон птиц в хвое кипариса здесь слышался гораздо сильнее, чем на веранде. Непонятно отчего волнуясь, он прислушивался к этому гомону и смотрел на странное, как бы отвернувшееся куда-то лицо тети Наташи.

Казалось, что она смотрит сон, как смотрят кино. Чик все еще слышал тихий шорох гомонящих наверху птиц, как вдруг слух его мгновенно обострился, и он отчетливо услышал струенье и шелканье о ствол падающих хвоинок. Эти сухие хвоинки осыпались с веток, на которых спали птицы. Они и днем все время осыпались, но Чик впервые услышал этот струющийся тихий звук.

– Тетя Наташа! – еле слышно позвал он. Ему показалось, что так долго стоять над ней и ничего не говорить как-то стыдно. Он не думал, что она проснется, но она сразу же проснулась.

– Ай! – вскрикнула она с какой-то деревенской грубоватостью, но тут же догадалась: – Это ты, Чик?

– Да, – сказал Чик.

– Ты чего не спишь? – удивленно и нежно спросила она, подымая голову.

– Не знаю, – сказал Чик, – что-то все мерещится, мерещится...

– Я же тебе говорила, не слушай этого дурака, – зашептала она и, быстро вытянув из простыни руки, обняла его за плечи шершавыми ладонями. – Он только и знает, что хулиганские глупости рассказывать... И врет все, выдумывает, не верь ты ему...

Подталкивая его к своей комнате и все-таки удерживая, она целовала его куда попало – в лоб, в щеки, в глаза. Чик готов был целую вечность так простоять, чувствуя прикосновение ее шершавых ладоней и твердых губ, вдыхая чудный запах копченного над костром сыра и жареной кукурузы. Но так как она все-таки подталкивала, он понял, что надо идти, и пошел к себе.

Он взобрался на бабушкину кровать и лег, прислушиваясь к волнующему и вместе с тем успокаивающему запаху копченого сыра и жареной кукурузы. Он подумал, что этот запах остался на его плечах от ее шершавых ладоней. Он понюхал свое плечо и удивился, что оно ничем не пахнет. Но он продолжал чувствовать этот запах, и ему больше не только ничего не мерещилось, но даже если бы он нарочно стал думать о самых страшных вещах, они бы его не испугали. Наверное, от этого запаха, подумал Чик, все еще вдыхая слабеющий аромат деревенской кухни и вспоминая дуновение ее шепота на лице.

И вдруг волна забытья с гулом ударила его откуда-то сбоку и поволокла за собой. Так, бывало, зазеваешься в море, и вдруг прибойная волна шлепнет сзади, накроет с головой и потащит. Вздогнешь на миг, а потом радостно отдаешься сильному движению шелестящей воды.

...А когда Чик проснулся утром, в комнате никого не было. Свет, как вода под напором, косыми струями, золотыми столбами сквозь тысячи пляшущих пылинок бил в комнату. По силе его Чик понял, что утро началось давно.

Сейчас ставни среднего окна были прикрыты, как и остальные. Чик сразу же догадался, кто их прикрыл. Только он подумал об этом, как распахнулась дверь с веранды в столовую и он услышал быстрые шаги тети Наташи. Она подошла к буфету, скрипнула его дверцей и зазвенела стаканами.

С веранды доносился поющий голос дяди Коли. Постукивая ложкой о дно железной кружки, из которой он всегда пил чай и которую никому, кроме бабушки, не давал в руки, он

пел одну из самых своих бодрых песен – песню ожидания утренней трапезы. Чик улыбнулся, представив, как дядюшка держит свою кружку перевернутой до самого последнего мгновенья перед разливом чая, чтобы туда не залетела случайная соринка или, не дай бог, муха.

Чик чувствовал, что стол уже накрыт, сахар наколот, самовар кипит, а дядя Коля и тетя Наташа ожидают, когда он встанет. От всего этого он испытывал сейчас необычайный подъем духа, благодарность начинающемуся дню и готов был запеть не хуже дядюшки.

– Собаки, брысь! – раздался голос дяди Коли, на мгновение прервавшего свою песню. На этот раз он и в самом деле имел в виду собаку. Чик услышал удаляющееся цоканье когтей Белки. Чик хотел было ее позвать, но затем решил сначала одеться, а потом уже поиграть с Белкой. Впереди был весь день. Он мимоходом вспомнил о тревогах этой ночи, и многое из того, что казалось страшным, сейчас выглядело совсем не так, словно оно потеряло свой запах или цвет. А некоторые подробности он вообще забыл. Так, одеваясь, он никак не мог понять, какого черта, пока он спал, ему кто-то перевернул сандалии.

Чик сидел у себя во дворе на толстой виноградной лозе, могучими витками подымающейся на шелковицу. Он держал уткнувшуюся передними лапами и головой ему в колени свою собачку Белку. Он поглаживал ее одной рукой по спине, иногда выковыривая из шерсти стебельки высохшей травы, колючки репейника, а то и клещей.

Стебельки засохшей травы он отбрасывал, колючки репейника выщелкивал, а если попадались клещи, он их осторожно клал на землю и изо всех сил растирал сандалией.

Когда Чик проводил рукой по голове и дальше по спине собаки, она старалась потереться мордой о его ладонь, показывая, что ей приятно. Если же клещ или колючка оказывались слишком цепкими, она слегка поскуливала, но не пыталась уйти. Она только показывала Чику, чтобы он действовал осторожней, ведь все-таки она живое существо и ей больно, хотя она и согласна, что Чик делает полезное дело.

Когда Чик осторожно клал клеща на землю, она с любопытством поглядывала на него, удивляясь, что такое ничтожество заставляло ее так бешено чесаться.

А когда Чик раздавливал клеща сандалией, Белка, мотнув головой, фыркала, показывая, что она несколько не жалеет этого паразита.

В нескольких шагах от Чика, упруго щелкая веревкой, прыгала через скакалку девочка Ника. Длинные ноги ее однообразно пригарцовывали, сверкая белыми тапочками, а желтый сарафан все время колыхался, а иногда, вдруг напузыриваясь, приобретал сходство, впрочем, довольно жалкое, с парашютом.

Чик хмуро, как маленький и притом пресыщенный богдыхан, следил за ее однообразными движениями. Белка тоже искоса следила за пригарцовывающей девочкой, и каждый раз, когда веревка щелкала по земле, она мигала. Звук этот был ей неприятен. И хотя Чику казалось, что она сама стыдится своего страха, она как бы говорила Чику, продолжая при каждом щелкающем звуке мигать: мало ли что может случиться, а вдруг и меня огреет эта противная веревка.

Чику тоже было неприятно это скакание, но совсем по другой причине.

Дело в том, что он в этот день задумал вместе с ребятами и девочками своего двора пойти в поход за мастикой. И вот вместо того, чтобы готовиться к походу или скромно сидеть возле Чика, показывая, что она побаивается, как бы Чик не раздумал брать ее с собой, эта Ника ничего такого и не думала делать.

В поход за мастикой? Пожалуйста, как бы говорила она всем своим видом, но, пока вы собираетесь, я еще попрыгаю.

Этого-то Чик больше всего на свете не любил. Это (Чик затруднялся, как это назвать), одним словом, это было свойственно некоторым мальчикам и почти всем девочкам. Во всяком

случае, Чик еще ни разу не встречал девчонку, которая была бы до конца предана Делу. Их всегда мог отвлечь какой-нибудь пустячок, унижающий Дело.

Например, если ты с ними на лужайке вздумал ловить стрекоз, то кто-нибудь из них рано или поздно погонится за бабочкой или начнет собирать цветы, а то поймает божью коровку и будет целый час ее упрасивать, чтобы она взлетела на небо. И так во всем. В этом была какая-то умственная, что ли, неполноценность, но так уж они были устроены, и с этим ничего нельзя было поделаться.

И вот тебе, пожалуйста, готовится великий поход за мастикой, а она как ни в чем не бывало скачет на своей скакалке.

Кстати, если кто не знает, что такое мастика, – это жвачка, вываренная из сосновой смолы и процеженная сквозь чистую тряпку. Лучше всего носовой платок, но, разумеется, чистый, еще не встречавшийся с носом.

Жевать мастику, особенно пускать из нее пузыри очень приятно. Но главное, мастика сейчас в моде. Появляться среди ребят, жуя мастику, прилично, это производит хорошее впечатление.

И наоборот, если ты целыми неделями появляешься среди ребят с пустым ртом, или кланчишь у кого-нибудь, чтобы дали тебе тоже пожевать, или, глядя на других, пускающих пузыри, невольно оттопыриваешь губы и высовываешь язык, это производит на всех плохое впечатление.

Получается, что ты не можешь сходить в поход за мастикой, не умеешь раздобыть сосновой смолы и выварить ее как следует. Или, что еще хуже, все это ты умеешь, но тебя не пускают из дому, а уйти без спроса не хватает храбрости, дрейфишь. Горе тому, кто подолгу не жует мастику, он рискует сделаться всеобщим посмешищем!

Среди ребят своего двора Чик считал себя самым главным. Разумеется, он об этом не говорил, это было бы слишком глупо, но считал это вполне справедливым. Во-первых, он это так считал потому, что так оно и было, а во-вторых, он был старше на три месяца самого старшего из них, Оника, сына Богатого Портного.

Конечно, во дворе были и другие ребята, но это были совсем взрослые парни. Они были старше его на пять-шесть лет, их нельзя было принимать в расчет, у них свое.

Мать Оника говорила, что Чик старше Оника на три месяца, а хитрее на три года. Она это, как попугайка, повторяла тысячу раз.

Чик чувствовал, что в словах ее есть какая-то правда, но она нарочно огрубляет ее. Пожалуй, Чик нашел бы словечко поточней, чтобы определить разницу между собой и Оником. Но Чик отмалчивался, потому что считал унижительным что-то доказывать этой не очень-то умной женщине. Откровенно говоря, ему было неприятно слышать от старших про свою хитрость. Не то чтобы Чик не хитрил, очень даже хитрил, если это было надо. Но он-то знал, что взрослые обитатели их дома, называя его хитрецом, мстят ему, потому что он давно догадался об их взрослых хитростях.

Чик давно заметил, что у них во дворе взрослые, разговаривая с маленькими или между собой, очень часто говорят одно, а думают совсем про другое. И хотя Чик никогда не мешал им думать совсем про другое, они почему-то злились на него за то, что он знает про другое.

Чик просто удивлялся, почему они так злятся на него за это. Иногда то, про что они думали, было так понятно и близко, что никак невозможно было не догадаться о нем.

Когда Чик был совсем маленький, он, слушая, как во дворе один взрослый, разговаривая с другим, говорит одно, а думает про другое, считал, что это такая игра. Чик замечал, что и другой взрослый при этом думает совсем про другое, так что никого никто не обманывает. Он только не понимал, почему они в конце игры не рассмеются и не скажут о том, что они хорошо поиграли.

А иногда дома, когда собирались гости, Чик замечал, что начиналась всеобщая игра, когда все говорили про одно, а думали не только про другое, а просто про разное. Так что Чик не успевал проследить, кто про что думает, или просто уставал следить.

Правда, случалось, что взрослые забывали про эту игру и кто-нибудь из них начинал рассказывать что-нибудь интересное и ничего другого при этом не думал, и тогда Чик с обожанием слушал этого человека. Конечно, и в таких случаях тот мог прерваться, чтобы сказать что-нибудь понарошку, но Чик на него за это не обижался. Он терпеливо переждал, как если бы этот взрослый закуривал, или опрокидывал в рот рюмку, или произносил тост, не только не имеющий другого, скрытого смысла, а вообще никакого смысла не имеющий.

Своих товарищей Чик разделял на тех, кто чувствует, что взрослые могут говорить одно, а думать совсем другое, и тех, которые этого не чувствуют.

Обычно те, которые не чувствовали этого, были более губошлепистыми и счастливыми детьми. Чик чувствовал, что незнание делает их более беззаботными и веселыми, точно так же как знание делает людей более уязвимыми. Чик это знал. Вернее, он это знал, но не знал, что знает.

Просто он чувствовал, что, например, Оник как раз относится к тем ребятам, которые так и слушают взрослых развесив уши, не подозревая, что за их словами может скрываться совсем другое. Он чувствовал, что в этой наивности Оника есть какое-то достоинство, которого он, Чик, теперь лишен навсегда. При всем этом он любил Оника и иногда завидовал этому его достоинству простоты.

Порой Чик сознательно допускал по отношению к Онику некоторые небольшие, как он считал, несправедливости. Он считал, что ему очень уж легко живется на свете.

Вот и теперь, когда они решили отправиться за мастикой, он поручил Онику самое трудное – вынести из дому чистый платок. Дело в том, что после того, как сквозь платок будет процежена расплавленная смола, он делается непригодным к употреблению. Его остается только выбросить, потому что отмыть невозможно. Ничего, думал Чик, семья Богатого Портного от одного платка не обеднеет.

Кроме Оника и Чика, в поход должны были пойти две девочки: Сонька и Ника. И еще Лёсик, который, как понимал Чик, будет еще большей обузой, чем даже девчонки.

Лёсик, по слухам, родился с какой-то болезнью, от которой он теперь хромал и заикался. Чик часто задумывался над его странной болезнью, от которой он одновременно хромал и заикался. Чик считал, что он как бы прихрамывает на язык или заикается на ногу. Можно было считать и так и так.

Несмотря на свои недостатки, Лёсик был добрым мальчиком, и Чик часто защищал его от ребят.

Из-за своей хромоты Лёсик плохо держался на ногах. Он мог упасть на ровном месте без всякой причины. Просто нога у него подворачивалась.

Однажды, когда он шел по улице, один из соседских мальчишек крикнул ему в шутку:

– Лёсик, осторожно, упадешь!

Услышав свое имя, Лёсик обернулся в его сторону и в самом деле упал. С тех пор на улице и в школе пошла гулять эта дурацкая дразнилка.

– Лёсик, а-ста-рож-но, у-па-дешь! – нараспев кричал кто-нибудь, увидев, как Лёсик с портфелем ковыляет по улице. Обычно в таких случаях Лёсик с улыбкой оборачивался на этого мальчика, всем своим видом показывая, что он понимает, чего они ждут от него. И конечно, старался не падать, хотя иногда, правда очень редко, все-таки падал. Но даже если и падал, он, так же добродушно улыбаясь, вставал, отряхивался и шел дальше.

Лёсика из-за его хромоты родители никогда не пускали со двора. Только в школу отпускали, потому что она была совсем рядом, а больше никуда не отпускали. Конечно же, ему, как

и всем ребятам, хотелось сходить на море или на гору или просто посидеть на улице. Но мать его все время следила за ним и строго наказывала, если он выходил за калитку.

Правда, не так давно у родителей Лёсика родились двойняшки, и матери стало некогда следить за Лёсиком так внимательно, как раньше.

Родители Лёсика захотели иметь второго ребенка, чтобы посмотреть, будет он совсем здоровым или родится такой же, как Лёсик. И тут родились сразу двое и оба здоровые. Лежа в коляске, лупят друг друга ногами и кричат не заикаясь.

Но отец Лёсика был все равно недоволен. Он считал, что им было бы достаточно одного здорового ребенка, а тут родились двое. Опять не так, как он хотел, получилось.

Чик давно заметил, что есть такие мужчины, которые вечно недовольны, что бы жена ни сделала. И женщины тоже есть такие, которые вечно недовольны, что бы муж ни сделал. Лёсикин отец был как раз из вечно недовольных. Чик был уверен, что, если бы Лёсикина мама родила одного здорового ребенка, он все равно что-нибудь придумал бы. Может, сказал бы: раз уж пошли здоровые дети, так родила бы сразу двух.

Так или иначе, сейчас мать Лёсика была целыми днями занята своими двойняшками и про Лёсика слегка подзабыла. Чик решил воспользоваться этим и взять его с собой в поход за мастикой.

Сонька сейчас мыла под краном пустую консервную банку. Она была дочерью Бедной Портнихи, так иногда называли ее маму, чтобы отличить от отца Оника, Богатого Портного. Они жили в самом деле очень бедно и занимали одну из худших комнат во дворе. Тетушка часто говорила об их бедности, хотя сама же говорила и противоположное.

– Ничего себе бедная, – кивала тетушка на Сонькину маму, возвращающуюся с базара, – всегда с полной корзиной идет.

Противоречивость тетушки поражала Чика. Как будто нельзя быть бедным и возвращаться с базара с полной корзиной! Ведь можно покупать самые дешевые продукты, что, кстати, всегда и делала Сонькина мама. Она ходила на базар к самому закрытию, когда наиболее слабовольные крестьяне сдавались и продавали по дешевке свои продукты.

Во дворе было замечено, что она нарочно в самые жаркие дни ходит на базар, то есть в такие дни, когда продукты быстрее портятся.

– Все равно сгниет, – часами бормотала она, стоя на солнцепеке возле безропотно оползающих персиков или где-нибудь в мясном ряду. Говорят, самые упорные сдавались вместе со свистком милиционера, закрывающего базар.

Кстати, Чик любил бывать на базаре. Обилие овощей, особенно фруктов, всегда веселило его, внушало желание петь бодрые песни. Единственно, что он не любил на базаре, – это мясные ряды. Не то чтобы Чик был вообще против мяса. Нет, мясо он любил. Но его как-то корбила грубая откровенность яростных кусков, брошенных на прилавки, обреченность коровьих туш, лишенных хвостов и как бы потому облепленных жирными мухами, множество маслянистых крюков, топоров, плах и палаческих фартуков. А самих мясников с растарашенными глазами Чик прямо-таки опасался. Он был уверен, что оголенное мясо развивает в них тайное бешенство, пьянит их.

Однажды Чик видел на базаре, как Сонькина мама спорила с мясником. Чик тогда с ужасом замер, ему показалось, что мясник сейчас выскочит из-за прилавка с топором и погонится за ней. Положение осложнялось тем, что Чик был на базаре со своим сумасшедшим дядюшкой, который был влюблен в Сонькину маму.

Об этом все знали, и Чик в первую очередь. Главное, он тоже не заметил и почувствовал, что происходит что-то неладное. Дядюшка уже замер и уставился на мясника неподвижным взглядом, что обычно означало готовность перейти к энергичным действиям. К счастью, именно в этот миг Сонькина мама стоворилась с мясником, и он вlepил шматок мяса в ее растопыренную корзину.

Она хохотнула и понеслась дальше. Дядюшка тоже мгновенно повеселел. Чик почувствовал, что у него на сердце отлегло. Черт его знает, что могло случиться!

– Дурачок шумит! – сказал дядюшка, показывая рукой на мясника и посмеиваясь. В то же время он взглядом просил Чика не рассказывать дома о том, что он собирался вступить за эту женщину. Дядюшка стыдился своей страсти, тем более что его довольно-таки безжалостно высмеивали из-за этой несчастной любви.

Так вот, дочь этой женщины, Сонька, была очень привязана к Чику. Иногда Чик подозревал, что по какому-то тайному закону равновесия она испытывала к Чику то чувство, которое дядюшка Чика испытывал к ее матери и на которое мать ее не могла ответить. По этому же закону равновесия Чик тоже не мог ничем ответить на эти чувства. Хотя самую привязанность ценил, особенно ценил ее беззаветную преданность делам, которые он время от времени затевал.

Впрочем, характер привязанности Чик мог и преувеличить из-за склонности к гармоническим конструкциям, которую он неустанно проявлял.

А что сказать о Нике? Она вместе с матерью переехала к ним во двор этой весной. Чик знал от дяди, что Ника – дочь известного танцора Пата Патарая.

Дядя сам когда-то танцевал с ним в ансамбле. Дядя говорил, что Пата Патарая такой замечательный танцор, что может танцевать на перевернутой рюмке.

Чик очень долго старался представить, как это можно танцевать на перевернутой рюмке. В конце концов он решил, что отец Ники танцевал на перевернутой рюмке, стоя на конце большого пальца одной ноги и приподняв вторую. Это было похоже на рисунок из замечательной книги «История гражданской войны». Чик эту книгу много раз листал. Там был нарисован дореволюционный крестьянин, который одной ногой стоял на своей земле, а другую держал в воздухе, потому что своей земли у него было так мало, что некуда было поставить вторую ногу. Чик через этот рисунок почему-то легко представил Пата Патарая, танцующего на перевернутой рюмке. Разумеется, в отличие от лохматого, оборванного крестьянина он его представлял одетым в черкеску и в азиатские сапоги.

Хотя при нем об этом старались не говорить, и именно поэтому Чик особенно внимательно прислушивался, он понял, что Пата Патарая арестован. По обрывкам разговоров Чик догадался, что, оказывается, отец Ники довольно часто танцевал при большом начальнике, который оказался вредителем.

Это, по мнению Чика, было слишком. Начальник-то, конечно, вредитель, думал Чик, но отец Ники пострадал по ошибке.

Чик решил, что танцевать на перевернутой рюмке так трудно, что все внимание уходит на то, чтобы не свалиться с этой рюмки, а следить за вредительством начальника одновременно с этим слишком сложно.

Вскоре Чик догадался, что Ника ничего об этом не знает. Чик сам решил, что ей нельзя говорить об этом. Из разговоров взрослых Чик понял, что и соседи тоже ничего толком не знают об этом.

В первые дни, когда они переехали к ним во двор, Чик тоже ничего не знал. Он только заметил, что эту новую девочку одевают нарядно, как взрослую. Почти каждый день Чик слышал, как она попискивает: это мать ей заплетала косы. Кроме того, она ходила, узко переставляя свои длинные ноги, словно стремилась как можно меньше соприкоснуться с пачкающим ее пространством. А главное, в ее личике, надо сказать, довольно хорошеньком, была та особая отмытость, по которой Чик за километр узнавал детей богатых родителей. У Оника тоже в лице была такая отмытость. По этому признаку он их сразу узнавал, как, скажем, по цвету газированной воды можно было сразу узнать, что в этом стакане двойная порция сиропа.

Чик в первое время старался держаться подальше от Ники. Но все-таки Чик испытывал к богатому какое-то странное любопытство. Поэтому он присматривался к ним и даже прислу-

шивался, если это было возможно. И вот однажды, когда он играл у них под окнами, он услышал, как мать Ники велела дочери сходить за хлебом. Ты смотри, подумал Чик даже с некоторым умилением, их тоже, как и нас, посылают за хлебом. Только Чик так подумал, как Ника высунулась из окна и сказала:

– Чик, я тебя очень, очень прошу, сходи за хлебом. Мне так не хочется... – При этом она с таким приятным бесстыдством, с такими ужимками завертела своей мордочкой, что Чик не смог отказаться. Это была такая неожиданная наглость, что он просто растерялся.

– Давай деньги, – сурово сказал он, и она, вытянув из окна руку, передала ему деньги. Страшно надувшись от оскорбления, Чик поплелся за хлебом.

– Бессовестная, – услышал он голос ее мамы из окна и странный смешок Ники. Почему, почему я не отказался, пораженный, думал Чик всю дорогу и не знал, чем это объяснить. Во всяком случае, он пришел к твердому решению больше у них под окнами не играть.

Потом они подружились, потому что мать Ники к нему хорошо относилась.

Это оттого, что Чик и дядя очень дружили и любили друг друга. А так как дядя раньше дружил с ее мужем, вот она и выделила Чика.

Иногда, уходя на базар или по делам в город, она оставляла Чика в квартире вместе с Никой. Чик не раз поражался ее умению, пошкродничав, мгновенно придавать своему облику невинное выражение. Ну, разумеется, перехитрить Чика ей никогда не удавалось.

Убранство в их квартире, как и ожидал Чик, оказалось роскошным.

Например, буфет был похож на дворец со стеклянными окошечками, дверцами, карнизами. Кроме того, там был письменный стол, патефон с целой горой всевозможных пластинок и огромный диван, на котором можно было подпрыгивать, как на сетке циркачей.

Правда, у дяди тоже стоял письменный стол, но остальные вещи здесь были куда лучше.

– А у вас есть персидский ковер? – спросил Чик, заметив, что на стене нет никаких ковров.

– Был какой-то, мама продала, – небрежно ответила Ника.

Вот богатые, подумал Чик, им все равно, был у них персидский ковер или не был, даже толком не знают.

– А у нас есть персидский ковер, – сказал Чик, чтобы что-нибудь противопоставить этой прорве богатства. Он подпрыгивал на пружинящем диване, испытывая удовольствие не только от его упругих толчков под ногами, но и от того, что он бесплатно пользуется всем этим богатством. Чик считал, что сам он живет средне. Он так и говорил: «Мы живем средне», – когда разговоры о том, кто как живет, возникали на улице или в школе.

Ника довольно часто заводила патефон. Некоторые пластинки Чик очень нравились, но он их воспринимал по-своему. Особенно нравилась одна, где рыцарь пел перед боем: «Паду ли я, стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она?» Чик очень хотелось, чтобы она мимо пролетела, эта стрела. Он даже видел этот замедленный полет стрелы, пролетающей мимо рыцаря, который украдкой, одними глазами, с облегчением, но никак не показывая радости, следит за ее полетом. Показывать радость стыдно, а увертываться от летящей стрелы вообще не положено. Ничего не поделаешь, в те времена были такие суровые условия. Так думал Чик.

Иногда Ника заводила пластинки, где выступал ансамбль песни и пляски с участием ее папы. Ансамбль сначала начинал с какой-нибудь кавказской песни, а потом постепенно подогревал себя и доводил до состояния пляски. Одни из них при этом продолжали петь и хлопать в ладоши, а другие пускались в пляс.

Чика удивляло, что Ника среди общего топанья радостно улавливала топанье отца.

– Во! Во! – тыкала она пальцем в пластинку. – Это он, он, Чик!

– Да как ты узнаешь? – удивлялся Чик. – Может, это кто-нибудь другой топают?

– Ну что ты, – говорила Ника, каким-то женским движением покачивая головой, – у папы совсем особый звук – легкий, точный...

Чик, сколько ни старался, никак не мог определить, чем отличается топанье Пата Патарая от всех остальных. Он решил, что во всем этом есть доля кривлянья, но считал это вполне простительным грехом, потому что она и в самом деле очень любила отца, которому так не повезло. К тому же такого рода кривлянье было свойственно многим взрослым.

– Тридцать рублей истратила, а что я купила! – например, говорила тетушка каждый раз, возвращаясь с базара. Это тоже было кривлянье, преувеличение. Во-первых, купила дай бог сколько, а во-вторых, хоть цены, по-видимому, в самом деле растут, но ведь не так быстро, как говорила тетушка. По ее словам получалось, что в каждый последующий день базар хуже, чем в предыдущий. Казалось, этими преувеличениями и кривляньем взрослые закливают себя от большей беды, чем та, которая есть. Они как бы говорят ей: «Не надо тебя, не иди к нам, у нас уже есть точно такая же Большая беда».

Вот этим взрослым привычкам и подражала Ника, думал Чик, когда она говорила, что среди топота многих танцующих узнает топот своего отца по особой легкости да еще и точно-сти.

Однажды, когда Чик играл с ней в прятки, случилось вот что.

Чик спрятался под письменный стол, а Ника почему-то долго его не могла найти. От нечего делать Чик пошарил рукой по тыльной стороне письменного стола и вдруг обнаружил, что там какие-то узкие щели. Чик понял, что это щели между ящиками письменного стола. В дядином письменном столе таких щелей не было. Такой уж тут стоял стол. Может быть, подумал Чик, у богатых так и положено иметь такие щелястые письменные столы.

Снаружи все дверцы его были закрыты, а сзади можно было пальцами нащупать щели. Чик с трудом просунул руку в ящик и тронул пальцами какую-то коробку. С трудом шевеля пальцами, он открыл картонную коробку и вдруг почувствовал, что она наполнена какими-то маленькими металлическими предметами. Чик сразу же догадался, что это пистончики для патронов. Чик даже вспотел от волнения. Это был целый клад золотистых пистончиков, которые стреляли, как настоящий пистолет, если бить по ним камнем. Но тут Ника его обнаружила, и ему пришлось вылезать из-под письменного стола. После этого Чик еще несколько раз прятался под ним и успел вытащить оттуда и спрятать в карман с десяток великолепных новеньких пистончиков.

– Ты какой-то глупый, Чик, – в конце концов сказала Ника. – Почему ты все время в одно место прячешься?

Чик хмыкнул, подтверждая свою глупость, одновременно сладостно перебирая в кармане пистончики.

– Что это у тебя в кармане? – спросила Ника, чувствуя, что Чик хитрит. Она заглянула ему в глаза.

– Ничего, – сказал Чик, продолжая держать руку в кармане.

– Нет, покажи, что у тебя в кармане, – сказала Ника.

– Ничего особенного, – сказал Чик, – лучше давай играть.

– Нет, покажи! – крикнула Ника и накинулась на него, стараясь выдернуть его руку из кармана.

Чик не давал выдернуть руку из кармана, и они оба повалились на диван.

Так как Чик не слишком сопротивлялся, главное было удержать руку в кармане, после некоторой возни Ника оказалась сверху. Она налегла ему на грудь и, упираясь острым локтем одной руки ему в живот, другой старалась выдернуть его руку из кармана.

Чик, конечно, не давался. Он чувствовал, что намного сильнее ее. Она попыталась просунуть руку в карман и в самом деле немного ее туда просунула, кряхтя и обдавая его струями горячего дыхания. Но Чик рукой, что была в кармане, прижал ее руку и не давал ей продвигаться дальше.

Игра эта показалась Чику забавной. Ему показалось, что, если б не острый локоть ее, давивший ему в живот, возня эта была бы даже приятной. Чик вывернул свой живот из-под ее локтя и прислушался, приятно ему или нет. Ты смотри, подумал он, в самом деле очень приятно. Удивительно, что раньше ничего такого он не испытывал. Правда, один раз в детском саду было что-то такое. Но это было так давно, что он забыл про это.

Стараясь держаться так, чтобы это новое ощущение не ослабевало, он в то же время не забывал и о своих пистончиках в кармане. Он продолжал их сжимать в кулаке и в то же время изо всех сил придавливал ладонь Ники, проползающую в карман.

Ника не на шутку разгорячилась. Чем больше она горячилась, тем приятней становилось Чику. Чик почувствовал, что надо поощрять ее усилия, чтобы сохранить уровень достигнутой приятности. Он сделал вид, что постепенно сдается, и она еще азартней взялась за него. Постепенно быстро шевелящиеся пальцы Ники добрались до его кулака, и, так как ему было приятно поощрять ее, он дал ей чуть-чуть просунуть палец между своими плотно сжатыми пальцами. Он был уверен, что сумеет ее остановить, когда надо. Но тут Чик ошибся. Царапая ему ладонь своим шарящим пальцем, она вдруг крикнула:

– Знаю! Знаю!

– Скажи, что? – спросил Чик и изо всех сил сжал в кулаке любопытствующий палец, чтобы он больше не шевелился.

– Знаю, – пропыхла Ника, – это такие штучки для патронов... У папы тоже они есть... Вон там в письменном столе заперты.

Все еще тяжело дыша, она кивнула головой на письменный стол. Сначала Чику показалось, что она догадалась, откуда он взял эти пистончики, но теперь понял, что она ничего не знает.

На него напал смех. Чик его никак не мог остановить, и она, вдруг обидевшись на него, резко выдернула руку из кармана и вскочила на ноги. Чик смутился и тоже встал. Он не понимал, почему она так обиделась на его смех, ведь она не знала, что он как раз оттуда и вынул эти пистоны. Он тогда не знал, что в таких случаях девочки терпеть не могут, чтобы кто-нибудь смеялся. Он вообще не подозревал, что она тоже что-то почувствовала.

– Ты не веришь, – сказала Ника и серьезно посмотрела на него, – что папа положил туда патроны, и патронташ, и эти штучки?

На Чика опять напал дурацкий хохот, и он никак не мог остановиться. Как же ему не верить, когда он сам их оттуда достал!

– Ах, ты опять?! – закричала она с такой злостью, что Чик сразу же перестал смеяться.

– Верю! Верю! – поспешно ответил Чик. – Честное слово!

– Конечно, – сказала Ника, заглядывая ему в глаза, – как только папа вернется из командировки, я тебе покажу их...

Она еще глубже заглянула Чику в глаза, стараясь о чем-то догадаться и как бы умоляя Чика уверить ее, что догадываться не о чем. Чик это мгновенно почувствовал.

– Хорошо, – сказал Чик спокойно, – когда он приедет, ты меня позовешь и покажешь.

Казалось, солнце упало на лицо Ники, так оно мгновенно просияло. Чик никогда в жизни не видел, чтобы у кого-нибудь так быстро вспыхивало от радости лицо.

– Да, – сказала она, – мы с папой не только покажем, папа тебе подарит их сколько хочешь. Мой папа самый, самый, самый добрый на свете!

– Знаю, – сказал Чик, – мне дядя рассказывал. Но ты уверена, что он мне подарит?

– Конечно! – закричала Ника и даже всплеснула руками в том смысле, что тут и говорить не о чем.

– А если бы он был сейчас здесь, – спросил Чик, – он бы подарил их мне?

– Ну да, – сказала Ника, – он делает все, что я у него попрошу.

– Можно считать, что он мне уже подарил? – спросил Чик.

– Можно, – кивнула Ника и села на диван.

Чик уселся рядом. «Все равно, подумал Чик, он бы мне подарил... И потом, он же вернется, когда поймет, что он вредителю никогда не помогал».

– А почему ты мне сразу не показал, Чик? – спросила она и как-то по-особому посмотрела на Чика. Чик насторожился. Ему показалось, что она догадалась, что он что-то почувствовал, и вызывала его на откровенность. Как бы не так, подумал Чик, ни за что на свете.

– Просто так, – сказал он, – это игра такая.

– А мы еще будем в нее играть? – спросила она.

– Да, – сказал Чик как можно проще, – почему бы и не поиграть.

– А мне нравится, – сказала Ника и так откровенно посмотрела на него, что никаких сомнений не оставалось, что и ей была приятна эта возня, но сейчас он никак не хотел говорить об этом.

– Да, – сказал Чик, – это смешная игра.

– Чик, хочешь, я тебе расскажу один секрет? – сказала она и, посмотрев на Чика, как-то хитро раскосила глаза, словно сразу же посмотрела в обе стороны, не подслушивает ли кто.

– Расскажи, – ответил он, чувствуя, как жгучее любопытство сжимает ему горло, и одновременно настораживаясь, чтобы она не выманила его на откровенность.

– Когда мы с папой были в санатории, – начала она, радуясь своему воспоминанию и стараясь заразить Чика этой радостью, но Чик не давал заразить себя этой радостью и держался как можно тверже, – так там был один мальчик, – продолжала она таинственным голосом и опять мгновенно выкосила глаза, словно пыталась застучать подсматривающих, хотя в комнате никого не было и не могло быть, – и у нас было свидание, и мы целовались два раза. Да, да, Чик, два раза, я помню.

Она выразительно посмотрела на Чика и, выставив два пальца, подтвердила, что поцелуев было именно два, а не один и не три.

У Чика дух захватило от этой откровенности. Вот богатые, подумал он, им ничего не стыдно! В то же время его как-то покорибил этот жест рукой, показался грубым. Так с сумасшедшим дядюшкой Чика обычно разговаривали, чтобы он лучше понял, о чем идет речь.

– Я не глухой, можешь пальцами не показывать, – сказал Чик.

– А у тебя, Чик, было свидание? – спросила она почти шепотом и опять выкосилась в обе стороны, словно они собирались сделать что-то недозволенное, а она смотрела, не подглядывает ли кто. «А-а, – вдруг догадался Чик, – она нарочно так делает, чтобы подтолкнуть меня».

– Все это глупости, – сказал он сурово, отвергая эту тему. Вообще-то у Чика никаких свиданий не было, но прямо сказать об этом ему не хотелось.

После этого случая они еще несколько раз играли в выдуманную Чиком игру, покамест он не достал из коробочки в письменном столе все пистоны. Он перевернул всю коробку в ящике, и те из них, которые лежали шляпкой вниз, он доставал, придавив палец к острым краям пистона, а те, которые нельзя было придавить к пальцу, он загонял поближе к краю ящика и доставал их, зажав между пальцами.

Когда они кончились, он решил прекратить эту игру. Он чувствовал, что, если она будет продолжаться, он увязнет в какой-то постыдной тайне.

Возможно, это был инстинкт свободы. Чик этого не знал. Он только понимал, что с тайной ему будет жить хлопотно и громоздко, а он этого не хотел.

– Как ты думаешь, – спросил он у нее, когда кончились пистоны, – а целую коробку твой папа мне подарил бы?

– Конечно, – просияла Ника и царственно махнула рукой, – он даже целую коробку конфет может подарить.

Он не чувствовал больших угрызений совести за эту опустошенную коробку с пистонами и теперь окончательно успокоился.

Чик все еще сидел на лозе и гладил Белку, положив ее морду к себе на колени. Приковылял Лёсик и скромно сел рядом с Чиком, показывая, что он благодарен ему за этот поход. Чика беспокоило отсутствие Оника, которого он послал домой за чистым платком. Что с ним?

Сонька вымыла консервную банку под краном и, утирая рукавом брызги с веснушчатого лица, подошла к Чику.

– Хватит? – спросила она и дала Чику понюхать банку. Чик взял в руки банку и внюхался в нее. Все-таки слабый запах рыбных консервов можно было почувствовать. Но от этого, видно, нельзя было избавиться. Белочка тоже потянулась, чтобы понюхать, чем пахнет банка. Чик дал ей понюхать.

«Пахнет!» – фыркнула Белочка и чихнула.

– Ладно, – сказал Чик, – ничего.

– Можно мне скакалку взять? – спросила Ника, не останавливая своих прыжков. Чик от возмущения не мог найти, что ответить. Он молча уставился на нее с некоторой надеждой, что она смутится. Но она как ни в чем не бывало продолжала прыгать.

– Может, ты еще куклу возьмешь? – сказал Чик, сам чувствуя, что слова его недостаточно язвительны.

– Куклу... гы, гы! – Сонька до ушей растянула свою знаменитую улыбку.

Лёсик тоже улыбнулся, засопел в поддержку остроумия Чика. Только сама Ника, продолжая скакать, пожалала плечами, показывая, что ничего смешного и тем более остроумного в его словах не находит.

Наконец появился Оник.

– Пахан кушать заставил, – сказал он с отвращением и, оглянувшись на окно своей квартиры, сунул Чику чистый платок. Потом он еще раз оглянулся на окно и вытащил из кармана десять и пятнадцать копеек.

– На копилку, – сказал Оник и протянул деньги Чику.

– О, молодец, – сказал Чик, сразу же прощая его за опоздание. Он побежал домой и вбросил в копилку деньги. Они собирали деньги на футбольный мяч. Домашние Чика знали об этом, но родители Оника не знали. Чик уговорил его не рассказывать им о копилке. Он чувствовал, что это затруднит приток монет из дома Богатого Портного.

– Мы на огороде будем долго! – ответил Чик на оклик матери и сбежал по лестнице.

Так как отец Оника, как всегда в такое время, торчал с шитьем на балконе, Чик решил выйти через огород на речку и, подымаясь вдоль русла, пробраться на соседнюю улицу.

Огород, или сад, его и так и так называли, представлял собой участок с баскетбольную площадку, на котором росли дикая хурма, инжир, груша, айва, персик, два куста роз и один полудохлый куст смородины, считавшейся здесь, на юге, экзотическим растением. Все деревья были обвиты лозой «изабеллы».

Между деревьев на грядках росли лук, кусты помидоров, кинза, петрушка и редкие мощные стебли кукурузы.

Бабушка Чика считалась хозяйкой огорода, и Чик был единственным из ребят, кто беспрепятственно туда допускался. Правда, иногда, когда у бабушки было плохое настроение или она считала, что ребята там топчут грядки, она насылала на них сумасшедшего дядю, и он гнал оттуда всех без разбору. Чик из самолюбия в таких случаях пытался ему объяснить, что он все-таки Чик, а не какой-нибудь чужой. Но это не помогало.

– Иди, иди, иди, – односложно приказывал тот с каким-то бюрократическим, как чувствовал Чик, безразличием к личности каждого. В таких случаях он их всех приравнивал и делал вид, что не узнает Чика. Он как бы говорил своим видом: мне приказано вас гнать, вот я вас и гоню, а кто ты там мне – племянник или не племянник, я не знаю и знать не хочу.

Это больше всего и раздражало Чика. Если бы он, прогоняя их, говорил Чикю своим видом: да, я знаю, что ты Чик, а я твой сумасшедший дядюшка, но мне приказано всех гнать, и я гоню всех, – тогда было бы куда легче. Так нет же, он делал вид, что не узнает его. Вообще Чик заметил, что чем слабее умственно человек, тем меньше он чувствует оттенки. Оттенки – это лакомство умных, вот что заметил Чик. Пожалуй, Чик про себя не сказал бы, что он такой уж умный, но он мог дать голову наотрез, что различает множество оттенков, которых другие не видят.

Вообще, задумываясь о своей голове, он пришел к такому выводу, что некоторые вещи он соображает очень хорошо, а некоторые туговато, с большим трудом. Он считал, что его голова в разных частях работает по-разному. В одной части колесики кружатся весело, быстро, легко, в другой части медленно, со скрипом, как колеса арбы. Он только не знал, где какая часть расположена. Вернее, он предполагал, что там, где виски, работа головы ни к черту не годится, а вот затылочная часть работает хорошо. Может быть, он так думал, считая, что, как говорят, «силен задним умом». Когда он вспоминал давным-давно прошедшие дела, он видел с необыкновенной ясностью, как надо было тогда действовать, а когда они происходили, он этого не замечал. Еще он заметил, что сильные встряски, долгая беготня тоже плохо действовали на его голову. Так, если он перед школой долго играл в футбол, то на первом уроке очень плохо соображал, что к чему. Видно, внутри головы с перегородками было неважно и все колесики перепутывались, мешали друг другу работать.

Во всяком случае, Чик точно знал одно, что та часть головы, которая определяет, что справедливо и что несправедливо, у него работает очень здорово. Этого Чик не сказал бы про многих взрослых.

Вот, например, бабушка. Обычно, когда собирали груши, она всем соседям посылала часть урожая. Это понятно, это хорошо. Но если она на кого-нибудь из них в это время была в обиде, она никому ничего не посылала. Но при чем тут другие, если ты на кого-то в обиде?

Чик тоже бывал на кого-нибудь из своих друзей в обиде, но ему никогда не приходило в голову, что от этого должны страдать все. И когда он брал их с собой в сад, все, что они там срывали с деревьев, он старался делить поровну. Ну иногда, конечно, если уж попадетсЯ очень хороший инжир, он мог его отправить себе в рот до общего дележа. Все же он стыдился этих минутных слабостей и нередко, проглотив плод, испытывал горькое раскаяние. Эх, думал он в такие мгновения, если бы раскаяние пришло двумя-тремя секундами раньше, я бы не стал его глотать. Но ведь откуда ему взяться, раскаянию, если ты еще этот плод не проглотил?

Однажды, когда Чик был совсем маленький, а Богатый Портной не такой уж богатый, тому поручили собрать с дерева груши для всего двора. В тот год был хороший урожай, и все соседи задолго до начала сбора притихли, чтобы, не дай бог, не обидеть бабушку. Бабушка пыталась к некоторым соседкам придираться, но они смехом и шутками отвечали на ее придирки.

И вот Богатый Портной с корзиной на дереве собирает груши, а ребята со всего двора стоят под деревом и кричат ему, где какая груша еще осталась.

Одну грушу, самую крупную и желтую, он никак не мог заметить, хотя она висела на ветке совсем рядом. Ребята все время кричали ему, снизу показывая на нее, а он никак не мог заметить, все время разгребая листья на других ветках.

Наконец он ее заметил. Осторожно дотянувшись, он нежно и плотно обнял ее всей пятерней.

– О-о-о, – похвалил грушу Богатый Портной, – эта пойдет в карман...

И в самом деле, сняв ее с ветки, он осторожно, как яйцо, положил ее в карман. Теперь Чик заметил, что карманы его подозрительно оттопырены. Чика тогда больше всего поразила откровенность Богатого Портного. Он как бы считал, что это и так всем ясно, что такую грушу нельзя в общую корзину положить. Но почему?

Чик тогда почувствовал, что у него испортилось праздничное настроение.

В общем, тогда что-то испортилось. Он сам не мог понять, почему одна груша, правда самая хорошая, может все испортить. Но он чувствовал это. Потом он вспомнил, что, как только Богатый Портной потянулся к этой груше и обхватил ее ладонью, он, Чик, ощутил какую-то тревогу за нее. Он как-то по-особому потянулся за нею и сорвал ее. Он так ее взял, словно на ней было написано – только для Богатого Портного. Но почему? Было неясно и неприятно.

... Чик шлепнул рукой по карману, чтобы убедиться, все ли на месте.

Щелкнул спичечный коробок, стукнул по вальцам черенок перочинного ножичка – все в порядке!

Ника забросила скакалку к себе на веранду, и ребята прошли в сад.

Проходя под грушей, Чик оглядел ее, но еще на ветках не было ни одного спелого плода. Инжир уже понемногу поспевал, но Чик с утра снял с дерева два спелых, а больше за день не могло поспеть.

Вдруг Сонька подняла с земли упавший инжир.

– Чик! – крикнул Оник. – Она с земли подняла инжир!

– Я только посмотреть хотела, – сказала Сонька и поспешно бросила инжир на землю. Считалось, что подымать с земли палый инжир – признак нищенства. Груши, яблоки и другие достаточно плотные фрукты можно, а инжир нельзя. Чик с упреком посмотрел на Соньку.

– Знаем, знаем, как посмотреть, – сказал Оник и насмешливо закивал головой.

Сонька наступила на инжир и растерла сандалией его сладкое повидло, чтобы показать, до чего ей противно было бы съесть этот инжир. По тому, как она смачно его раздавила и растерла, Чик догадался, до чего ей хотелось съесть этот инжир.

Ребята вылезли сквозь дырявый забор и спустились к руслу речушки. Летом она обычно сохла и плелась, едва высунув язык. Белочка, конечно, попыталась за ними увязаться.

– Белочка, домой, – сказал Чик строго, но доброжелательно. Белочка оглянулась, словно Чик разговаривал не с ней, а с какой-то другой собачкой. Чик давно знал все ее хитрости. – Кому говорят, домой! – Чик прибавил в голосе строгости, но оставил и нотку доброжелательности.

«Ах, ты мне говоришь? Но мне так не хочется, Чик!» – сказала Белка взглядом и, склонив голову, застыла в позе сиротской покорности. Это было нелегко перенести, но Чик стойко держался. Он понимал, до чего ей скучно оставаться во дворе, когда все порядочные люди куда-то уходят, но брать ее с собой было нельзя.

Дело в том, что в последнее время в городе появился собаколов, который ездил по улицам со своей страшной клеткой и ловил зазевавшихся собак. О судьбе собак, попавших в его клетку, ходили самые мрачные слухи. Говорили, что он их убивает, из мяса делает мыло, а шкуры перекрашивает, чтобы хозяева не узнали, и продает. Недаром Чик ненавидел мыло, хотя его уверяли, что в магазинах то мыло не продают. Продают не продают, все равно противно, думал Чик.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.